

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000036729013

ЕЛЕНА КАТИШОНОК

Счастливый Феликс

рассказы и повесть

ЕЛЕНА КАТИШОНОК

Счастливый Феликс

рассказы и повесть



Москва
2018

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6
К29

Художник
Валерий Калныньш

Катишонок Е. А.

К29 Счастливый Феликс : рассказы и повесть / Елена Александровна Катишонок. — М. : Время, 2018. — 192 с. — (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-1716-7

«Прекрасный язык. Пронзительная ясность бытия. Непрерывность рода и памяти — все то, по чему тоскует сейчас настоящий Читатель», — так отозвалась Дина Рубина о первой книге Елены Катишонок «Жили-были старик со старухой». С той поры у автора вышли еще три романа, она стала популярным писателем, лауреатом премии «Ясная Поляна», как бы отметившей «толстовский отблеск» на ее прозе. И вот в полном соответствии с яснополянской традицией, Елена Катишонок предьявляет читателю книгу малой прозы — рассказов, повести и «конспекта романа», как она сама обозначила жанр «Счастливого Феликса», от которого буквально перехватывает дыхание. Да и другие рассказы, наверное, автор могла бы развернуть из «конспектов» в более просторные полотна. Могла бы — но не стала. Потому что знает цену точной детали, лаконичной фразе, мастерски выстроенному сюжету. Единый сюжет есть и у всей книги. Автор видит его так: «от сияющего бесконечного дня ребенка к неумолимой взрослой осени, когда солнце движется к закату, но тем неистовее становится желание жить».

ISBN: 978-5-9691-1716-7

ББК 84(2=411.2)6



9 785969 117167

© Е. А. Катишонок, 2018
© «Время», 2018

ЯЗВА

На двери квартиры была прикреплена маленькая латунная табличка с каллиграфической гравировкой: «Г. М. Ивановъ» и затейливыми виньетками по углам, как на визитной карточке. Жена Максимыча носила гордое римское имя Матрона, слегка скомпрометированное отчеством Ивановна, и недовольно опускала уголки губ, если ее называли Матреной. С ними жила старшая дочь Ирина, которая потеряла мужа на войне, но спустя три года неожиданно обрела внучку. Мать внучки, Иринина дочь, на яростные вопросы родных об отце ребенка отвечать не стала, как не стала и кормить младенца, и ушла то ли постоянно ночевать, то ли временно жить к подруге. Все упреки Матрены, таким образом, достались Ирине. К счастью, ни отвечать, ни оправдываться было некогда. Нужно было покупать молоко на базаре, покупать любой ценой, то есть за любую цену, а для этого нужно было

Впервые опубликовано: альманах «Образы жизни», Калифорния, 2012.

сидеть за швейной машинкой, чтобы на том же базаре продать пару наволочек, что-то из дамского белья или детские чепчики.

Девочка росла здоровым, спокойным и румяным ребенком. Матрона была с правнучкой очень строгой и часто гневно выговаривала дочери, видя ее нежную привязанность к «отродью». Когда Ирина пошла работать на швейную фабрику, в доме стало тише. Ребенок рос, скандал потерял остроту, да и чего уж. Иногда в гости приходила беспутная мать и приносила гостинчик: фигурку из марципана, похожую на серый обмылок, или ромовую бабу, ничего общего ни с ромом, ни с бабой не имеющую.

Шкодой девочку первым начал называть Максимыч, любимый и единственный ее дед, хоть и прадед. Старуха — величественная, как и полагается Матроне, — так часто одергивала правнучку: «Не тронь, шкоду сделаешь!» или: «Ты опять шкоду сделала?!», что Максимыч как-то, морщась и ловя жесткими пальцами пуговицу на косоворотке, подытожил: «Шкода и есть».

Сколько помнила Шкода — а помнила она больше двух лет из своих скромных четырех, — Максимыч всегда носил эти уютные, постиранные до замшевой мягкости сатиновые косоворотки, которые аккуратно заправлял в брюки. У него были густые брови, небольшая седая бородка и упругие усы, которые Шкода старательно причесывала, а старик сидел послушно, как в парикмахерской. Время от времени он ловко хватал зубами маленькие пальцы, быстро поворачиваясь и лукаво глядя на нее черными, очень живыми глазами: страшно?

С Максимычем никогда не было страшно. Кроме того, у него были вещи, которых не было ни у кого больше, даже у бабушки Иры: *подсигар*, часы на цепочке и язва.

Самой вожаделенной из них, понятно, был подсигар — плоская серебряная коробочка, такая гладкая, что казалась оплавленной. Если надавить выступающий зубчик, крышка отпрыгивала. Внутри ровненько лежали папироски, прижатые резинкой. Узнав, что ни для чего, кроме папирос, подсигар Максимычу не нужен, Шкода долго пыталась выманить ценную коробочку, но дед упрямо отказывался. А жаль: подсигар уютно проскальзывал и укладывался в карман ее пальтишка, что было не раз проверено. Внутри же можно было упихать множество беспризорных сокровищ: пробку от духов, трамвайные билетки, несколько бусин, двуносый красно-синий карандаш «Победа», обе игральные карты — одну с нарисованным сердцем и другую, с которой улыбался яркий симпатяга в колпаке с бубенчиками, — да мало ли!.. Дед разрешал играть с подсигаром, только не открывать. Тогда Шкода предложила называть недоступный предмет не «подсигар», а «подпапирос», чтобы избавиться от наваждения и не думать, под что еще его можно с умом использовать. Максимыч смеялся долго, вытирая лицо и лысину сложенным носовым платком. Баба Матрена тоже смеялась, кользясь всем большим телом под просторным платьем и лоя слезы концом головного платка.

Второе чудо — цепочку с часами — тоже хотелось заполучить, но именно в таком порядке, потому что узнавать время по часам она еще не умела.

Самым же загадочным была язва. Шкода представляла себе язву змеей, притаившейся где-то глубоко внутри Максимыча, и спросила как-то, живая ли она, на что тот бодро ответил: «А как же. Я живой, ну и она живая». Временами змея-язва мучила Максимыча так, что они не только не ходили в парк, а и сам он не вставал с дивана. В эти дни па-

пироски он не курил, пил соду, а когда баба Матрена уходила к плите, лечился. Делалось это так. Дождавшись, пока хлопнет кухонная дверь, он открывал тумбочку, доставал бутылку с бело-зеленой этикеткой, наливал себе полную рюмку лекарства и быстро проглатывал. Бутылка отличалась от других отсутствием длинного бумажного шлейфа и белой панамки на пробке. Рюмку и бутылку Шкода быстро задвигала в глубину тумбочки, а Максимыч облегченно вытягивался на диване. «Помогло?» — уважительным шепотом спрашивала девочка. «Зараз, зараз», — шептал он в ответ: баба Матрена почему-то не любила это полезное лекарство, и знать о нем ей было нельзя.

Сейчас язва затихла, свернулась неподвижным клубком и мучить Максимыча перестала. Мутный стакан с кристалликами засохшей соды, похожей на свежую порошу, уже не маячил перед глазами. «Одевайся, Шкода! Гулять пойдем».

Когда баба Матрена застегивает ей платье на спине, пуговица всегда цепляет за волосы. «Цыганское отродье, — ворчит она. — С такими кудлами от людей стыдно!» Она со всеми строгая. Максимыч к ней подлизывается, потому что это его мама. Вот и сейчас: «Да мы, мамынька, только в парк на часок. Иди, Шкода, галоши одевать». Баба Матрена сердится еще больше: «Одевай не одевай, галоши рваные! Хоть в ботинках ребенка пускай в такую мокроту». Максимыч быстро надел плащ, даже тросточку брать не стал: «Я сейчас, мамынька», и нету его. А я?! «Оссподи! — сердится баба Матрена, — опять курить...»

Максимыч вернулся скоро, и его борода пахнет улицей и папиросами. Макинтош немножко шершавый, об него приятно тереться носом. «Давай скоренько, — бормочет Максимыч, — примерь-ка», — и достает из-за пазухи что-то

в бумаге, и разворачивает, а Шкода уже торопливо стаскивает старые галоши. «Максимыч! Ты где их взял?!» — «Нашел». — «Где?» — «Да я пошел покурить, смотрю — лежат на крылечке... Ты ногу давай. Да не ту, это ж левая!.. вот так, молодца! Не жмет?»

Девочка крепко прижалась лбом к плащу старика, пока он осторожно натягивал блестящую резину на маленький ботинок.

Непривычная к ботинку, новая галоша налезала туговато. Вторая тоже. Максимыч уже который раз находит что-то хорошее. Жалко, что яркой алой серединки не будет видно, но зато галоша блестела, как елочная игрушка. «Максимыч! А это волшебник оставил? Ну, на крылечке?» — «А може... може, и волшебник. Или девочка какая потеряла. Ну, идем?»

Он торопливо заворачивал старые галоши в ту же бумагу, когда вошла Матрон — в черном шерстяном платке и с сумкой. Новая резина пахла пронзительно-остро. Девочка радостно задрала ногу: «Смотри, бабушка Матрена, что Максимыч на крылечке нашел!» Старуха гневно сдвинула брови: «Опять? Зачем ублюдка балуешь? Это ж на какие такие...», но Максимыч виновато перебил: «Мамынька, так ведь сирота; а ну заболит?» Однако Матрона только разгонялась: «Батьки нету, матке она не нада, даже боты не может ребенку купить!.. На кой балуешь?! Спасибо тебе кто скажет?..»

В пальто было очень тепло. Баба Матрена ругала Максимыча, а у него вываливались из бумаги старые галошки. Ей было скучно слушать про какую-то сироту. Вот бабушка Ира стихотворение знает: «Шел по городу малютка, Писинел и весь дрожал»... Без галош шел, вот и дрожал. Хотелось скорее расспросить Максимыча, как это он нашел.

Слово «ублюдок» было новым и непонятным. Присев на корточках, она рассматривала свое отражение в галошах. Помпон на капоре в галоше выглядел крохотным, а нос и рот — огромными, словно надутыми. Она несколько раз тихо произнесла новое слово: оно выскальзывало очень плавно и легко, как леденец. Только бы Максимыч не рассердился. У него есть страшное ругательство, которое он выкрикивает каждый раз, когда они с бабой Матреной долго спорят: «мачесная». На «ма» он сильно топал ногой, а дальше было похоже на чихание, но очень строго.

Протянув руку, она крепко уцепилась за карман дедова макинтоша и протянула ему бамбуковую тросточку. На лестничной площадке Максимыч застегнул плащ и натянул картуз. Девочка осторожно спускалась, держась обеими руками за перила и с нетерпением поглядывая на него. Они вышли из парадного; рядом почти синхронно громко хлопнула дверь обувного магазина.

Хорошо, что к парку надо было идти в противоположную сторону: обувного Максимыч старался избегать. В то время, когда он был еще «Г. М. Ивановъ», там располагалась его мебельная мастерская и вместо унылой продавщицы и нагромождения столь же унылых коробок стояли верстаки, суетились рабочие во главе с ним самим, а ноги утопали в солнечных кудряшках стружек, всегда пахнущих весной.

Пахло весной. Звуки, краски и запахи улицы приобрели особую отчетливость, как бывает, когда смотришь сквозь только что вымытое окно. «Не скачи, коза, нос разобьешь», — тихонько ворчал старик, когда они шли по желтому, истертому подошвами и каблуками кирпичному тротуару, тоже ставшему более желтым и четким, и оба знали, что, пока он держит ее ладошку, нос разбить невозможно.

Звонко прокатился трамвай, почти пустой, и в окна можно было увидеть болтающиеся на штангах кожаные петли, за которые никто не держался. Параллельно тротуару шла лошадь, осторожно перебирая копытами по бульжнику. На телеге стояла огромная бочка, а возница держал вожжи с таким безразличным видом, словно они и вовсе не были нужны. Многие встречные уважительно с ним здоровались, и он узнаваемо, но без улыбки кивал в ответ. «Кто это?» — спросила Шкода, быстро повернувшись к деду, отчего помпон на капоре метнулся, словно заячий хвост. «Золотарь», — усмехнулся старик. «Почему, Максимыч?» — «Золото везет». Шкода не отставала: «Где золото? — «В бочке, где ж еще».

Это было так же непонятно, как «ублюдок». Если он везет в бочке золото, чего ж не оделся понаряднее? И где он столько золота — полную бочку — взял? Может, лебедь белая наколдовала? Нет, никак этот вонючий дядька не был похож на князя Гвидона. Максимыч не обманывает, он шутит. Как он шутил тогда, после обеда: «Шкода, наелась? Вкусно было? А ну, дай пузо полизать!» Все смеялись, даже бабушка Ира, и говорили, что это шутка. Наверно, он и сейчас шутит. А про золото у бабушки Иры спрошу.

Снег уже сошел, дорожки в парке были темные и упругие. Скамейки подсохли, и Максимыч, прислонив тросточку, сел выкурить на солнышке папироску. Шкода села рядом и, держась обеими руками за скамейку, вертела по очереди то одной, то другой ногой в рейтузах, восхищенно любуясь галошами. Потом осторожно сползла, держась за его плащ, и спросила: «Максимыч, можно к девочкам?» У соседней скамейки, метрах в тридцати, играли две девочки постарше, катая игрушечную коляску. Их матери сидели на скамейке вполоборота друг к другу и увлеченно

беседовали. «Только котика, — говорила одна, для понятности припечатывая ботиком гравий, — я моему так и сказала: только котика. Каракуль уже никто не носит». Вторая с вежливой ненавистью смотрела на топающий бот. Удовлетворенно отметив, что размер бота намного больше ее собственного, с достоинством застегнула каракулевый воротник. Обе равнодушно посмотрели на приблизившуюся Шкоду. Девочки вдвоем вцепились в ручку коляски и начали катать ее взад и вперед. Шкода улыбнулась коляске и подняла глаза на счастливиц. Лица у них стали одинаковыми и взрослыми, а коляска заерзала по гравию еще усердней. «Как тебя звать?» — обратилась Шкода к ближней девочке. Девочка не ответила и подтолкнула подружку, которая остановила коляску. Та протараторила, глядя на Шкоду в упор: «Звать — разорвать, фамилия — лопнуть», потом повернулась ко второй, и обе засмеялись. Ее подруга добавила: «Мы с цыганками не водимся», — и обе засмеялись опять.

Женщины продолжали: «...первую петлю просто снимаешь, не провязывая». — «Вообще?» — «Ну да. Иначе край ровный не получится».

Максимыч расстегнул верхнюю пуговицу плаща, снял картуз, разгладил ладонью седой газончик волос вокруг лысины и опять надел. Хорошо они вместе играют, вон как хохочут, а то что ж она все одна да одна. С детьми тоже надо. На дворе одну не оставишь, а сюда можно хоть каждый день приводить. Пусть и свою куклу какую захватит. Разнообразие; а то все дома. Вот поиграют еще малость, и пора домой, обедать.

Девочки смеялись и по очереди показывали на Шкоду пальцами: «Цыганка! Цыганка!», зажимая ладошками рты, словно пытались удержать смех, но не по-настоящему,

а чтоб вышло обидней. Кукольная коляска неуверенно проехала пару шагов и уперлась в пустой край скамейки. Одна из сидящих женщин крикнула: «Лора! Прощайся, нам пора домой, обедать», потом снова повернулась к собеседнице.

Ноги в новых галошах вдруг начали подворачиваться. Больше всего она боялась, что коляска толкнет ее в спину, и она упадет. Скамейка с Максимычем была очень далеко, и надо было пройти весь путь так, словно она сама передумала и решила вернуться.

Вскочив со скамейки, Максимыч успел подхватить падающую девочку: «Куда ж ты так, я за тобой не поспею!..» Он хотел усадить Шкоду рядом с собой, но она не отпустила его шею и так и осталась сидеть на коленках, плотно вцепившись ему в лацканы и спрятав лицо. Помпон чуть вздрагивал. Старик обхватил капор и повернул к себе мокрое лицо. «Ты что? Обидели?.. Кто тебя?» — тревожно выспрашивал он. Повернул голову к соседней скамейке, но там никого не было. В нескольких шагах валялась яркая детская вязаная перчатка. Пальцы были растопырены, словно отталкивались от влажной дорожки. «Что ты плачешь?» — «Я цыганка! Максимыч, я цыганка?.. — бормотала, горестно глядя на него. — Они со мной не играют, — кивнула помпоном в сторону, — и баба Матрена ругается...»

Старик коротко вздохнул. «Не сердись на бабу, она ж не тебя — она меня ругает: я и есть цыган». — «Ты?!» — «Я. У меня мамка-то цыганка была, мой папаша привез ее с Польши». — «Баба Матрена?» — «Да не! Моя мамаша. Она уж покойница, Царствие ей Небесное», — Максимыч снял картуз и перекрестился. «А баба Матрена тебе не мама?» Старик засмеялся: «Нет. Она ж твоей бабы Иры

мамка!» — «А почему ты ее мамынькой зовешь?» — «Да привык. У нас пятеро ребят было, и все: мамынька да мамынька, ну так уж и пошло». Слезы высохли, и Максимыч был рад без памяти, что девочка забыла о своем горе. Он осторожно ссадил ее с колен и встал со скамейки, разминая ноги. Шагнув вперед, бережно подобрал оброненную перчатку и аккуратно пристроил между брусьев скамейки, чтоб видно было. Придет ребенок домой, там хватятся... а так завтра найдут.

Оказаться в компании с Максимычем было не только не страшно, но даже весело, хоть и необычно. Цыган Шкода встречала часто — они жили на соседней улице, рядом с парикмахерской, куда Шкода с Максимычем ходили стричься. Его все знали, уважительно здоровались, останавливались поговорить о непонятном, причем Максимыч неизменно вытаскивал свой подсигар. Мужчины прикуривали, сверкая золотыми зубами в ярко-черных бородах, а она скучала, рассматривая «цыганский дом». Все три этажа желтого каменного здания заселяли несколько семей, но ей всегда казалось, что там живет одна огромная семья. Мужчины носили сапоги (она понятно покосилась на ноги деда), и у каждого был самое малое один золотой зуб во рту, что делало улыбки зловещими, а смеялись они часто, перекрикиваясь на непонятном языке. Женщины были одеты в длинные яркие юбки, а вместо кофт носили платки с кисточками, как на бабушкиной скатерти, и тоже улыбались золотом. Дети никогда не ходили, а только бегали, кроме завязанных в платки, которых держали на руках. Время от времени из дома выходили цыганки с клубящимися вокруг детьми, мужчины выносили какие-то узлы и запрягали лошадей, все усаживались в телеги и куда-то уезжали, громко и сердито крича. Бабушка Ира говори-

ла, что в деревню; баба Матрена как-то загадочно: «на гастроли».

«А ты умеешь говорить по-цыгански?» — с любопытством спросила Шкода. «Да откуда? Мамаша моя с Польши, по-польски и говорила. Ну и по-русски тоже умела, а как же! Отец-то у меня русский был». Он усмехнулся. Родители говорили по-русски, все двенадцать детей и записаны были по отцу, и сами считали себя русскими. Однако польский язык оказался цепким, словно столетник на подоконнике: и не поливает вроде никто, а он нет-нет да и выпустит свежий яркий побег. Вот и Матрена: уж на что покойницу-свекровь не любила и высмеивала, а словечки польские приняла легко и охотно, да еще небось разгневалась бы, знай, что польские.

Он вытащил из кармана тусклые старые часы на цепочке, взглянул, отодвинув руку вперед, на циферблат, но понять, который час, не сумел, остановленный новым вопросом: «Максимыч, а ты тоже ублюдок?» Медленно спрятав часы обратно и сказал: «Иди сюда, коленки почистить надо. Рейтузы не порвала? А галоши вон в луже обмоем». Шкода терпеливо перенесла весь обряд очищения, включая неизбежный носовой платок, который Максимыч слегка поплюнул и затем осторожно стер с ее щеки грязь. Платок пахнул табаком. Девочка взяла его за руку и пошла к луже, которая затаилась под скамейкой, как маленький пруд. Старик приподнял ее под мышки и держал так, пока она медленно болтала галошами в воде. Выпрямившись, сама поправила капор и повторила: «Скажи, Максимыч?..»

«Мать Честная, Пресвятая Богородица! — громко выкрикнул он, с яростью ткнув тросточкой в гравий. — Ты где такое паскудство слышала?!» — «Баба Матрена сказала. А это что, Максимыч?» — «Слово паскудное! Вот я тебя за-

ставлю рот с мылом мыть!» Девочка смотрела на тросточку, на крепкую руку, сжимавшую рукоятку, и, дождавшись паузы, спросила: «Как “мачесная”?»

Максимыч ошеломленно взял ее за руку и, сердито опираясь на тросточку, повел по дорожке. Домой спешить не хотелось. Доктор предупреждал, что кушать надо всегда вовремя, да только мог бы и не трудиться: тянущая боль в желудке сама напоминала о времени обеда. А при скандале какой же обед. В том, что без скандала не обойдется, Максимыч не сомневался. Что ж это они все, Мать Честная?! Он не удивлялся, когда жена попрекала его их стариковской нищетой, и дело было не в тех грошах, которые оба они получали «по старости»: старость и впрямь получалась дешевой донельзя. Нет, Матрена не могла простить их миллиона в банке, который лопнул. И не у них одних деньги пропали, но об этом и заикаться не стоило — тогда ему припоминалось все: и нагло оттяпанная государством мастерская, и солидные заказчики, и — повтор с разгоном — миллион в банке, и — уж извольте радоваться! — матушка-цыганка, Царствие ей Небесное. Ничего не помогало: ни что матушка давно уж покойница, ни что крещена была, перед тем как венчаться... Максимыч привык быть виноватым перед женой за все, на что она привыкла гневаться: за жидкое молоко в лавке и за то, что нигде, кроме как в этой лавке, его не купить; за внучкин грех; за безденежье и пропавшего без вести на войне сына, за неприличную цыганскую смуглость внучки, а теперь и правнучки; даже за его язву.

Словно подслушав воровато последнее слово, желудок отозвался резкой, сводящей болью. Мать Честная! И ничего не сделать — весна, как доктор и говорил: весной, мол, и осенью всегда будет хуже. Как будто ни зимы, ни лета

в помине нет. Осторожно ступая, Максимыч медленно опустился на ближнюю скамейку. «Зараз, зараз, — бормотал, — на вот, поиграй пока», — и протянул девочке портсигар. Шкода бережно погладила теплое серебро. Как-то сама собой нажалась пружинка, и подсигар послушно открылся, как книжечка. Внутри щекотно и приятно пахло Максимычем — табаком. Девочка взглянула на деда, не видел ли он запретного действия: Максимыч сидел напряженно, чуть согнувшись, а лицо у него было такое, как будто ему не хочется гулять.

Вот этот кусочек — четыре скамейки — до выхода и один квартал. И через дорогу. Потом только лестница — три этажа — и все. Можно будет выпить стопку и лечь. Пара минут, и боль онемевает. Весна, говорил доктор.

Шкода осторожно сомкнула створки портсигара, и он закрылся тихим щелчком. «Сейчас придем домой, — лукаво улыбнулась она, — и ка-а-к крикнем бабушке Матрене: цыгане пришли! Да, Максимыч?»

Улыбнулся через силу, через сильную боль, но не улыбнуться не мог. «Шкода, Шкода, — медленно выговорил он, — давай сюда подсигар, это не игрушка».

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЛКА

Бабушка Матрена собиралась уходить очень давно, но все не уходила, только хмурилась и бормотала: «Ключи... Платок... Кошелек...» Уже в пальто, повернулась и погрозила Шкоде пальцем:

— Смотри!..

Девочка послушно ждала, пока закроется дверь. Два раза щелкнул замок, словно орешек разгрыз.

Ушла.

Шкода видела в окно деревья, противоположный тротуар и магазин, у которого стояла очередь. Над входом висел плакат «Слава Октябрю», хотя был май. Открывать окно нельзя, «а то шкоду сделаешь», но никто не запрещал лечь на пол. А кто мог запретить? Бабушка Матрена ушла, дед лежал в больнице, мама уехала еще до Пасхи. Она долго собиралась и примеряла два новых платья, но в чемодан положила только одно. Потом передумала, вытащила первое и начала складывать второе. Вдруг запла-

кала прямо над открытым чемоданом, и бабушка рассердилась:

— Что ж он за цаца такая, что ты столько денег промотала? Вон одна завивка небось...

— Он никакой не «цаца», он... У него творческая жилка! Бабушка неожиданно засмеялась:

— Это ж какой тебе прок с этой жилки, что белугой решешь ни с того ни с сего?

И ушла на кухню. Все знали про какую-то цацу с творческой жилкой, и Шкоде стало очень интересно, как эта жилка выглядит. Она спросила у мамы, но та сказала: «Сама увидишь» — и села красить ногти. На следующий день мама должна была уезжать на курорт, и не сама по себе, а с Творческой Жилкой, так что увидеть цацу Шкода не могла.

— А курорт — это далеко?

— Будь здоров, — ответила мама, хотя Шкода и не думала чихать.

— Ты на такси поедешь или на трамвае?

— Дурашка ты! На такси до курорта не добраться. Мы на поезде поедem.

— Ты и цаца?

Мама рассердилась.

— Эт-то что такое? Сама от горшка два вершка, как ты выражаешься?!

Надо было дожидаться деда из больницы, он скажет. Когда дедушка Максимыч опирается на тросточку, на его руке вздуваются жилки. Закапляет — жилка дергается на шее. На бабушкиных руках, когда та стирает белье, такие же. Это творческие или не творческие?..

...Снизу все выглядело иначе, даже буфет, известный давным-давно, потому что буфет намного старше Шко-

ды. Там за стеклом стояли сахарница, вазочка с печеньем и банка какао, а во втором ряду всякие коробочки и кулечки разных размеров. Встав на придвинутый стул, девочка осторожно, чтобы не уронить сахарницу, попыталась их достать. От коробочек приятно пахло киселем, яблочным пирогом и еще чем-то знакомым. Внутри, однако, не нашлось ничего даже отдаленно напоминающего вкуснятину, только тонкие палочки и какая-то темная труха. Шкода хорошо знала вкус какао, поэтому уверенно сняла крышку с банки. Внутри был порошок, вроде маминой пудры, только коричневым. Она послонила палец и, сунув его в банку, облизала. Пыль какая-то, а не какао.

Поставив банку на место, она собралась уже спускаться, но взгляд упал на другую полку. Там в ряд, как солдатики, выстроились тонкие рюмки, фарфоровые мальчики и девочки кланялись друг другу и стояли маленькие, но очень тяжелые часы в золотых завитушках. «Это бронза», — поправила когда-то бабушка таким строгим голосом, что стало ясно: по сравнению с таинственной бронзой золото — тьфу. Часы настоящие, только не ходят, потому что были поломаны «в мирное время». Наверное, тогда же перестали ставить на стол нарядные рюмки, решила Шкода, — рюмки тоже были настоящие.

Она поставила стул на место, к этажерке, отчего та качнулась, и сверху свалился желтый комочек. Это был смешной цыпленок, подаренный ей на Пасху. Цыпленок был сделан из желтой ваты, на голове у него сидела черная блестящая шляпа, как у трубочиста, а сбоку была прикреплена тросточка. В тот день трудно было дожидаться, когда разойдутся гости, — хотелось скорее с ним поиграть, однако бабушка Матрена не дала — ловко схватила подарок и поставила на верхнюю полку.

— Это не игрушка. Шкоду сделаешь.

Обидно — девочка как раз собиралась познакомиться веселого цыпленка с одноухим медведем, плюшевым слонем и куклой Наташей, даже расставила кукольный сервиз.

Несколько дней Шкода ходила за прабабкой, выклянчивая цыпленка «только потрогать одну минуточку». Та вздохнула, открыла шкаф и долго что-то в нем искала. Наконец захлопнула дверцу и вытерла вспотевшее лицо.

— На вот, играй!

В протянутой руке бабушка Матрена держала... маленькую тетеньку. Потому что кукол таких не бывает, и Шкода смотрела заворуженно, забыв свою обиду и даже про цыпленка желтенького забыв.

— Это мамки твоей кукла, с мирного времени. Немецкая работа; сейчас разве таких делают?

Она презрительно взглянула на целлулоидную Наташу в окружении слона и увечного медведя, бережно расправила розовые, мирного времени, складки платья и сунула куклу правнучке.

— А как ее зовут? — Шкода все еще не решалась взять куклу-тетеньку в руки.

— Мамка твоя со своего курорта приедет, у ней и спрашивай.

Выяснилось, что мама вернется не скоро, только через три недели, вместе с Творческой Жилкой.

Даже в витрине «Детского мира» таких кукол не бывает. Ноги сгибались в коленках, а руки в локтях, и только пальцы оставались неподвижными, зато ладошки вертелись во всех направлениях — у Шкоды так не получалось. А лицо! Кукла-тетенька улыбалась, отчего на щеках у нее были ямочки, в чуть приоткрытом рту белели зубки. Наташа с медведем любовались на нее во все три глаза.

Шкоде на секунду стало жалко Наташу, с ее пластмассовыми, как и вся она, волосами и добрыми неподвижными глазами, день и ночь открытыми; но только на секунду. Схватив расческу, девочка начала причесывать густые, мейбелного цвета волосы новой куклы. Волосы были волнистые, пышные и блестящие. Наверное, кукле не нравилось причесываться — а кому нравится? — и, хоть она продолжала улыбаться, то и дело моргала, мелькая ресницами. Положишь — закроет глаза, как Спящая красавица. Посадишь или поставишь — опять открывает.

Шкода старательно завернула мамину куклу в старый бабкин платок и положила спать в Наташину кроватку — пускай отдохнет, устала небось от мирного времени. Вон часы совсем сломались... Наташа не обиделась, а кукла-тетенька закрыла глаза, но даже во сне улыбалась.

Куклу можно было причесывать, носить на руках — и снова заворачивать в платок, а больше с ней делать было нечего, потому что как ее зовут, знала только мама. Скорее бы она из своего Курорта приехала. Мама, наверное, каждый день гоголь-моголь пьет, потому что в Курорте много куриц. И цаца с творческой жилкой тоже пьет. Курицы там везде, и цыплята тоже, вот такие, только без шляп и тросточек, а живые. Можно взять цыпленка и поиграть немножко, пока бабушки нету, он ведь сам упал. Можно завернуть его в платок вместе с маминой куклой, у цыпленка ведь тоже нет имени, он просто цыпленок. Увидев его в первый раз, Шкода сразу придумала имя: Христос Воскрес, но бабушка Матрена рассердилась и не позволила.

Кукла-тетенька смотрела на цыпленка, чуть улыбаясь, и Шкоде показалось, что он вот-вот снимет шляпу, так что захотелось ему помочь. Она потянула тихонечко цилиндр, и он приподнялся, потянув за собой желтую вату. Так же

легко вата отставала от крылышек. Она отщипнула крохотный клочок — ничего не было заметно. «Никакую шкodu не сделала», — решила девочка. Медленно переводя взгляд с куклы на цыпленка, она задумалась, а потом уверенно взяла с подоконника ножницы. «Длинные отросли, — говорила мама, — пора нам с тобой в парикмахерскую».

Вот и у нее длинные отросли. Пора.

Пышные кудри падали на платок и на пол. У Шкоды покраснели пальцы, ножницы стали теплыми и скользили. Кукла помаргивала, но продолжала улыбаться. Волосы шелестели под ножницами, как масло на сковородке.

Максимыч, наверное, гордился бы. Он говорил часто: «Терпение и труд все перетрут». Почти все локоны валялись на полу. Куклина голова стала маленькой, как кочерыжка. Неровные клочки торчали в разные стороны.

Может, отрастут?..

Ведь эта кукла совсем не такая, как другие. Девочка посмотрела на старую верную Наташу со скользким пластмассовым чубчиком, не боявшимся никаких ножниц, и заметила цыпленка, о котором начисто забыла. А что, если?..

Там же, на подоконнике, стояла бутылочка с надписью: «Клей конторский». Шкода не раз удивлялась, зачем переставили слова — написали бы: «Конторский клей», но сейчас удивляться было некогда. Кисточка не нужна — она торчала прямо из крышки и всегда сидела в бутылке.

Первый клоч ваты лег на куклину голову неровно, но цыпленок оставался таким же пухлым. Дальше пошло быстрее: мазнуть по голове клеем, отщипнуть кусочек ваты и прилепить.

Кукла послушно улыбалась. Цыпленок худел. Грязные желтые хлопья прилипли к пальцам и не отклеивались. Это замедляло работу; пришлось мыть руки.

«Клей конторский» быстро высыхал. Цыпленок кончился, оставив две тонкие проволочные ножки, блестящий цилиндр и тросточку. Желтая вата новой прически, торчащая веселыми лохмами во все стороны, лишила куклу всех примет мирного времени. Голубые глаза выжидательно смотрели на девочку. Шкода замерла и вдруг воскликнула:

— Шалава, вот кто ты! Шалава!

И правда: в новом виде кукла удивительно была похожа на соседку с пятого этажа, которую все называли Шалавой. Однажды Шкода поздоровалась очень вежливо, встретив ее во дворе: «Здравствуйте, тетя Шалава!», за что мама больно ткнула ее в бок, а дома ругала: «Кому Шалава, а тебе тетя Дуся, и чтоб я ничего подобного не слышала!» Правда, тетя Дуся-Шалава на нее не обиделась, а, наоборот, улыбнулась ласково и сказала: «Играй, детка, играй». Она шла медленно, задевая забор, и, посмотрев ей вслед, Шкода увидела большое грязное пятно на спине светлого плаща.

Вместо плаща подошло Наташино белое платье. Старая резинка от трусов стала поясом.

— Ты — моя Шалава, — ласково повторила девочка.

Два раза хрустнул орешек замка, дверь открылась... и стало тихо.

— Никак, опять шкоду сделала?

Старуха расстегивала пальто и строго глядела на правнучку. Та, просияв, вскочила с пола и протянула куклу:

— Смотри, бабушка, это — Шалава!

УРОК МУЗЫКИ

Звонок уже был, а второй «А» все еще строился, чтобы идти на физкультуру. Учитель, молодеватый парень в голубом шерстяном тренировочном костюме, уже несколько раз подносил к губам свисток, но лениво отпускал его болтаться на шее. Он скучал. Раздражала мелюзга, бестолково дергающая тяжелую дверь актового зала, он же спортивный. Раздражал предстоящий урок с этими недоростками, которые при команде «Равняйсь!» испуганно тарасились на него, вместо того чтобы повернуть голову. Он свистнул наконец и сам легко дернул дверь. Второклассники торопливо вбежали в зал и начали выстраиваться в ряд, делая «восьмерки» и мешая друг другу. Он уже собрался захлопнуть дверь, как увидел в конце коридора неловкую, оплывшую фигуру завучихи, похожую на редьку. Чуть позади, то и дело замедляя шаг, чтоб не врезаться в спутни-

Впервые опубликовано: альманах «Образы жизни», Калифорния, 2012.

цу, шел высокий худощавый незнакомец в белом халате. Ага. Сейчас этот айболит заведет: «Скажи “а-а-а”», а что меня предупредить заранее?! Завучиха суетливо махала какой-то бумагой и кричала: «Ива-анкирилч! А-адну минуту!..» Физкультурник не торопился; пусть пробежится. Озабоченно поправил свисток и позволил себе слегка нахмуриться: у меня класс ждет, что такое?

Стоявшая третьей от конца Нелька увидела, что лицо у Кирилы стало очень гордым и слегка обиженным. За ним в зал вошли завучиха и незнакомый седоватый дядька в белом халате. Доктор? Завучиха начала говорить с Кирилой — как обычно, громко, с надрывом, двигая руками и нагибаясь вперед — словно гребла.

Эти русские, думал врач, кивнув физкультурнику и быстро оглядев неровный ряд детишек. Нет, это в самом деле вопрос культуры. Культуры и организованности, поправил он себя. Какой идиот в их идиотском РОНО решил, что я в состоянии за один урок проверить на сколиоз сорок с лишним человек?! Преподавателя, естественно, не предупредили. Печалиться он не будет, но на их идиотском педсовете скажет тронную речь — вот так, с полицейским свистком на груди, в тренировочном костюме и явится. Взглянув на непрерывно говорившую завучиху, врач увидел аляповато накрашенный рот с пузырьками слюны в уголках. Вырез шерстяного жакета слева был испачкан мелом. Это она бретельку бюстгальтера поправляет, догадался врач. Искривление позвоночника. Пора эту курицу выставить.

— Извините, — сказал он негромким баритоном, — мне нет много времени.

Завуч перестала грести и засуетилась к выходу, обернувшись и бросив свирепый взгляд на детей. Врач говорил

с акцентом, был непривычно вежлив и потому непонятен. В дверях она столкнулась с физкультурником, который быстро прошел вперед.

Завуч семила на толстых каблуках по коридору, натертому оранжевой мастикой. Упруго и бесшумно отталиваясь резиновыми тапками от опасного пола, физкультурник стремительно удалялся. Стиляга несчастный; вот завтра и будешь вывешивать над входом праздничный транспарант. Она рванулась было вперед, чтобы окликнуть «стилягу», но он был уже недосыгаем. Ладно. Взгляд упал на школьную стенгазету: «95-я годовщина...» Молодцы, успели к 22-му апреля. А это что такое?! Подойдя вплотную, увидевшись в рисунок, привычно поправив под жакетом сползающую лямку. Бессмертный профиль был старательно исполнен черной тушью. Изображать вождя, без диплома?! Художники... от слова «худо». Кто газету выпускал, шестой «Б»? Она заторопилась к учительской. Нет, у них в Курске было проще. Но здесь, слава богу, тоже советская власть, нравится это кому-то или не нравится. Доктор... фашист недобитый.

В актовом зале у рояля тихонько шептались девочки — из тех, которые время от времени приносили с собой в школу большие черные папки на блестящих витых шнурах. В них носили ноты. На обложках было неразборчивое, но очень красивое тиснение, словно кто-то размашисто и с нажимом расписался. Папки были одинаковые. Когда их владелицы начинали говорить между собой о музыке, их лица становились озабоченными и высокомерными. Все это таинство называлось «ходить на музыку». Нелька на музыку никогда не ходила. Загадочную черную папку

она увидела раскрытой только однажды, когда одна из посвященных жаловалась другой: «У меня вот это место не получается». Для Нельки «это место» выглядело как черника, нанизанная на соломинки. Летом она сама так насаживала, только гораздо ровней.

Откуда здесь это диво, поразился врач, увидев рояль. Могу себе представить, в каком он состоянии. У них же тут и физкультура, и пение, и танцы с бубнами. Варварство.

— Начнем, пожалуйста, с девочек, — произнес он негромко, вызвав легкое веселье непонятной своей вежливостью и легким акцентом. Он привычно построил детей спинами к себе и опытным взглядом окинул шеренгу голубых маечек и черных сатиновых трусов. Снять бы майки, так ведь замерзнут, в зале холодно. Посмотрю по лопаткам. Быстро записал несколько фамилий и перешел к мальчикам, которые от скуки начали толкаться и наскакивать друг на друга. Проведя всю привычную рутину поверхностного осмотра и взглянув на часы, доктор с досадой обнаружил, что осталось почти полчаса. У рояля толпились девочки. Он подошел и поднял крышку. Крепкая блондинка с открытым и улыбчивым лицом стояла впереди, глядя ему прямо в лицо.

— Ты умеешь играть? — спросил врач.

Дети закричали наперебой: «Да, да! Она умеет! Еще как!» Совсем рядом с ним маленькая цыгановатая девочка (спина хорошая, сколиоза нет) произнесла тихо и восхищенно: «Таня ходит на музыку». Доктора передернуло: «ходит на музыку», Боженька мой. Даже своему языку научить не могут. Он придвинул круглый табурет и кивнул уверенной Тане:

— Прошу. Что ты хочешь исполнять?

Девочка, повернувшись лицом к ребятам, звонко объявила:

— «Полонессагинскава», — и тут же бойко застучала по клавишам.

Рояль был в очень хорошем состоянии, явно недавно настроен. Когда таинственное произведение отзвучало, доктор повернулся к детям и спросил:

— Кто-то хочет еще сыграть?

С физкультурой повезло. Кирила не возвращался, завучиха тоже. Доктор нестрашный, прививки делать не будет. Когда он открыл рояль, Нелька незаметно дотронулась до клавиши, но никакого звука не получилось. Наверно, Полонесса — дочка этого Гинского. А может, у него две дочки — Полонесса и Инесса, как та с косами из седьмого «Б»... Сначала поиграли те, кто ходит на музыку, а потом доктор ловко подкрутил круглый одноногий стул и сам уселся за рояль:

— Я вам сыграю вальс. Он называется «Сломанные сосны».

В последний раз этот вальс исполнял его крестный на таком же рояле, у себя на даче. Крестный не был музыкантом, но он благодарно любил и прекрасно знал музыку, великолепно исполнял и сам импровизировал. Послушав эти беспомощные экзерсисы — «Казачок», «Ригодон» какой-то и — уж извольте радоваться! — «Полонез» Огинского, доктор ощутил такую боль за прекрасный инструмент, за крестного, за необходимость говорить на чужом языке, что не задумываясь сел играть любимый вальс. Пусть эти неразвитые одноязычные дети послушают Музыку.

Они слушали. Неразвитые одноязычные дети, со сколиозом и без, голоногие, озябшие в своих куцых майках,

обступили рояль и слушали. Краем глаза врач увидел смутный курносый профиль, плотно сжатые губы и тонкую шею, напряженно вытянутую в его сторону. Грузинка? Армянка? Кого только теперь не встретишь в этом благословенном городе... Девочка стояла в стороне, как будто боялась дотронуться до инструмента. Последний аккорд.

Неужели музыка совсем кончилась? Теперь, когда Нелька поняла, как надо играть?! Не как Таня играла и не как Нинка, хоть они и на музыку ходят. Играть надо так, как доктор: надо нажимать сразу на много клавиш, и тогда получится музыка, а не... «Полонесса» какого-то Гинского. Ведь ясно, что это «Сломанные сосны», даже если б он не сказал!

Десять минут как-то нужно убить, хоть на самостоятельность. Иначе эти маленькие дикари будут терзать инструмент. Они уже гадят и толкаются. Черненская так и не двинулась. Станный ребенок. Доктор увидел, что маленькие смутные пальцы теребят вырез майки.

— Ты, может быть, тоже играешь на фортепьяно? — спросил он с иронической полуулыбкой.

Девочка подняла глаза и тихо ответила:

— Да.

Он проделал все то же самое: раскрутил стул, придвинул его ближе, чуть поклонился и даже шаркнул ногой, хоть никто не засмеялся. Все молчали. Доктор помог ей усесться. После этого Нелька начала играть — так же, как он: громко, не пропуская ни одной клавиши, которая казалась нужной в этот момент, торопливо хватаясь за другие и стараясь не пропустить эти черненские. Иногда она озабоченно качала головой, иногда чуть прикрывала глаза. Очень хотелось от-

кинуться скорбно назад, как доктор, но боялась сползти со стула. Если они засмеются, я совсем закрою глаза. Касаться пальцами клавиш было очень радостно.

Что она делает, Господи, недоумевал врач. Острые лопатки под голубой майкой ходили ходуном, темные локти взлетали над клавиатурой. Он чуть передвинулся. Стали видны маленькие неумелые пальцы, с отчаянием топтавшиеся по клавиатуре. Какофония была неопишуемой, однако дети молчали. Доктор незаметно следил за девочкой. Полуприкрытые глаза и совершенно счастливое лицо. Такое лицо было у крестного, когда он импровизировал. После звонка ее заклюют.

После звонка он всем расскажет, что я не хожу на музыку. Он уже понял и пока что меня не выдает.

Звонок прозвучал так же, как последний аккорд «Сломанных сосен». Нелька взмахнула обеими руками и величаво обрушила их на клавиши, закрыв глаза. Бережно закрывая инструмент, доктор спросил:

— Что ты играла?

Голубые майки стремительно смыкались вокруг рояля. Сползая с табурета, цыганка ответила:

— Это Пуччини, — и повернулась к нему спиной. Дети возмущенно кричали: «Нелли! Ты не говорила, что ходишь на музыку, это нечестно!» — «Мы не знали, что ты тоже играешь!»

Врач оцепенел. Смуглая девочка вполборота настороженно посмотрела на него, кивнула и первая побежала из зала.

Она была уверена, что именно так звучит пучина.

КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ

Инна Сергеевна Усачева любила читать вслух так же страстно, как и в школьные годы, когда она занималась художественной декламацией. Дома в письменном столе хранилась почетная грамота, врученная ей за победу в общегородском конкурсе. Не зря учительница посоветовала читать «Песню о буревестнике», это вам не вялый Тургенев со своими стихотворениями в прозе. «Пусть сильнее грянет буря!» — звонко пожелала со сцены Инночка, и грянула буря аплодисментов.

Теперь она сама стала учительницей, преподавала русский язык и литературу и мечтала организовать кружок выразительного чтения; да хоть со своих пятиклассников и начать. Классное руководство Инночке дали полгода назад, и она исписала половину толстой тетради планами мероприятий для внеклассной работы.

Впервые опубликовано: альманах «Образы жизни», Калифорния, 2012.

— А истории чего, не будет? — послышался голос от окна.

— Не «чего», а «что», — поправила Инна Сергеевна. — Нет, истории не будет: Константин Михайлович заболел.

Шлепнулся на пол чей-то портфель, одновременно заговорили несколько человек, послышался смех, захлопали парты, но в этот момент распахнулась дверь и вошла завуч. Она решительно протопала к задней парте, бросив на ходу: «Садитесь, ребята, садитесь», хотя никто не успел встать.

— Истории не будет, — повторила Инночка, — и у нас есть возможность заняться внеклассным чтением. Я уверена, что это вас заинтересует.

Она подняла и повернула к пятиклассникам книгу в невзрачной серой обложке, на которой было написано: «Рассказы зарубежных писателей». Завуч опустила очки и прищурилась.

— А про чего рассказы?

Несколько голов повернулись к окну, кто-то хихикнул.

— Не «про чего», а «про что», Терехов, — терпеливо повторила Инна Сергеевна. — Вот я сейчас вам прочитаю, и если ты все еще не поймешь, то задашь вопрос.

— И приготовь дневник, Терехов, — многообещающе добавила завуч.

Тебя не спросили, раздраженно подумала Инночка. Как-нибудь я найду со своим классом общий язык. Господи, ну разве можно так одеваться? Хуже дворничихи. Коричневая юбка, синий жакет и прическа, как у Крупской; убиться венником. Зачем она вообще приперлась. Приветливо улыбувшись, Инночка продолжала:

— Ребята! Вам будет интересно узнать, как живут ваши ровесники в других странах — там, где люди делятся на богатых и бедных, на белых и черных; где одни купаются в роскоши, а другие голодают.

Она сделала паузу. Завуч одобрительно кивнула. Девочки на передних партах внимательно рассматривали ясное Инночкино лицо, блестящую темную челку и свежий кремовый воротничок блузки. Из тех, кто сидел подальше, самые предприимчивые незаметно делали домашнее задание, время от времени посматривая на учительницу, другие тихонько перешептывались, третьи играли в морской бой — этих можно было узнать по сосредоточенным, отчужденным лицам.

Терехов сидел за партой один и смотрел в окно. За оградой школьного двора была столовая летного училища. Дверь беспрерывно открывалась и закрывалась, выпуская и выпуская студентов в синей форме. Здесь, в классе, ничего не было слышно снаружи, и казалось, что на улице просто выключили звук. Из задней двери столовой повалил пар и вышла толстая тетка в белом халате. Как в бане, подумал Валерка. Тетка легко выволокла огромный цинковый бидон и остановилась, скрестив руки под грудью и шурясь на солнышко. Было видно, что возвращаться на кухню ей не хочется.

— Тебе, Терехов, тоже полезно послушать, — Инна Сергеевна положила руку Валерке на макушку и легонько повернула его голову, — а то будешь потом спрашивать, про что я читаю.

Мальчик вздрогнул от неожиданности. Сзади раздалась смешки. Инна Сергеевна давно вернулась к столу, а он все еще чувствовал на волосах легкую ладонь, будто училка отвалила, а рука ее осталась.

— Рассказ, который я вам прочту, называется «Красные башмачки».

Завуч кивнула. Что ж, хоть и молодая, а класс держать умеет, если этого архаровца приструнила. Одеваться мог-

ла бы поскромнее, конечно: это не дом моделей, а школа. Куда ж это годится — каблук, да костюм по фигуре, да брошка, точно на именины вырядилась! Она приспустила очки и прищурилась: нет, не брошка — ромбик университетский. Ладно; посмотрим, что там за рассказ.

...Девочка Нэнси мечтала, что мама когда-нибудь купит ей красные башмачки, которые они увидели в витрине магазина. Мать очень хотела порадовать дочку и регулярно откладывала деньги. Томительно тянулись дни ожидания, и вот наконец они вдвоем робко вошли в сияющий огнями магазин. Увидев посетительниц, к ним подошел продавец, и вскоре Нэнси уже сидела на бархатном диванчике, а продавец, встав на одно колено, надевал ей туфельки. Однако радость девочки была недолгой — башмачки оказались тесны. Продавец улыбнулся и принес другую пару, на размер больше. Нэнси захопала в ладоши от радости, а продавец повернулся к матери: «Вы понимаете, мэм, что вам придется заплатить за обе пары: никто не купит туфли, которые примеряла чернокожая девочка».

В этом месте Инночка сделала паузу — так советовала преподавательница выразительного чтения. Кульминационный момент, говорила она, требует осмысления; а ты спокойно переведи дыхание и после глубокого вдоха продолжай.

Продолжение оказалось концом рассказа. Нэнси уже не радуется, и они с матерью понуро возвращаются домой с двумя нарядно упакованными коробками.

...Тетка в халате сволокла бидон по ступенькам и, схватив за одну ручку, потащила к помойке. Не дойдя до распахнутого бака, перевернула бидон и вытряхнула объедки.

Потом опять взяла за одну ручку и потащила за собой, как наказанного ребенка. Валерка представил — как услышал — громкое и гулкое бречание бидона по асфальту и чуть не засмеялся.

Очень выразительно читает, отметила завуч. Все как один слушали, даже Терехов. И рассказ такой подходящий выбрала; молодец.

— Теперь вы видите, ребята, — Инна Сергеевна притушила декламаторские нотки и говорила обыкновенным учительским голосом, — теперь вы видите, как жестоки нравы американского общества. У нас, в советской стране, такое невозможно даже представить. А теперь, — продолжала она, — если у вас есть вопросы — это относится и к тебе, Терехов, — давайте устроим дискуссию. Ну, кто первый?

Какие уж тут вопросы, решила Инночка. Пожалуй, еще один рассказ успею прочесть. Посмотрев на завучиху, встретила благосклонный взгляд.

Рыженькая коротышка с первой парты прыгала от нетерпения.

— Послушаем Стеценко, — кивнула Инночка.

— А я удивляюсь, — затарахтела маленькая Стеценко, — это что же, туфли все время стояли в витрине, пока Нэнсина мама деньги копила? Как же их не раскватали... если там все размеры были?

— Садись, Стеценко, — улыбнулась Инна Сергеевна. — В обществе потребления, ребята, магазины ломаются от товаров, да только их нелегко купить тем, кто живет честным трудом, как мать вашей ровесницы Нэнси.

Рыжая девочка сконфузилась и покраснела. В среднем ряду поднялась рука. Это новенький, откуда-то с Кавказа, умница и круглый отличник.

— Слушаем тебя, Чануров.

— У меня вопрос, — негромко заговорил мальчик, но учительница его перебила:

— Громче, Чануров, чтобы весь класс слышал!

— У меня вопрос, — повторил смуглый паренек, — вот там сказано, что она... мать то есть, откладывала деньги, чтобы... ну, на туфли.

Инночка согласно кивнула.

— Так вот, — громко и четко продолжал мальчик, — она ведь копила деньги на одну пару, а купила... то есть должна была купить, две. Получается, что она или знала, что так выйдет, или у нее было в два раза больше денег; верно?

— Ай да чучмек!.. — восхищенно протянул кто-то, но Инна Сергеевна лихорадочно ломала голову над ответом. Как же так, она ведь два раза прочитала — и не заметила подвоха? Что там, в самом деле, с деньгами? А если б и вторая пара не подошла?..

Ее осенило:

— Итак, ребята, считаю дискуссию открытой. Все слышали Чанурова. Какие будут ответы?

Загадочный и простой вопрос Чанурова, а также слово «дискуссия» вызвали в классе оживление. Пятиклассники задвигались, и сразу несколько рук потянулись вверх.

— Говори, Никифорова!

Высокая девочка с ямочками на круглом лице заговорила, в отличие от Чанурова, быстро и сбивчиво:

— Когда в магазин за чем идешь, то нужно побольше денег с собой, а то как же? Мало ли что выбросят — никогда не знаешь. Так и Нэнсина мама — Чанчик прав — тоже имела про запас.

Завуч насупила брови. Инна Сергеевна жестом усадила девочку.

— Кто следующий?

Желающих было так много, что все заговорили одновременно:

— И что, никакой очереди не было?..

— Как это не было? Просто очень дорого...

— Вот мы однажды в магазине зимнее пальто видели, а пока за деньгами бегали...

— ...стоял на коленях, будто она сама примерить не могла...

— А другим как будто не надо?

— Ну как это без очереди?

— Продавец, наверно, тоже негр был.

— Она, может, договорилась, чтоб до полочки подождали...

— Или другой цвет разобрали?

— Если б негр был, мог бы предупредить.

— Тогда зачем в витрине оставили?

— А почему она размер не спросила?

— Мне мать лыжные ботинки купила, так они вообще разных размеров: правый тридцать седьмой, а ле...

— В Америке лыжные ботинки на фиг не нужны!

— Я для примера говорю...

Странная дискуссия получалась: не друг с другом, а с автором рассказа, чтоб ему пусто было. Главное — дотянуть до звонка. Инночка скосила глаза на часы: оставалось пятнадцать минут. Надо было подлинней рассказ выбирать. «Каштанку» какую-нибудь. Никаких тебе негритянок, никаких красных башмачков.

Валерка смотрел в окно. Собака подбежала к груде столовских объедков и теперь, трясясь от жадности, хватала кусок за куском. Со стороны осторожно подошел голубь

и начал клевать крошки. Откуда-то налетели другие голуби, но псина даже головы не подняла.

С задней парты мешковато поднялась завуч, протопала по проходу и встала рядом с Инной Сергеевной.

— Я не понимаю, — сдавленным от бешенства голосом начала она, — что здесь происходит, цирковое представление или свободный урок? Вам рассказали о человеческом горе, а вы как отреагировали? С какими обывательскими, мещанскими мерками вы к нему подходите? Отличники считают деньги в чужом кармане, заработанные тяжким трудом!

Гневный взгляд остановился на Чанурове. Завуч сняла очки и продолжала:

— Через двадцать лет вы будете жить при коммунизме. Перед вами открыты все дороги — страна не жалеет для вас ничего. Природа щедро вас наградила, а вы?

Теперь она смотрела прямо на Любу Евсюкову.

Природа щедро наградила Евсюкову жидкими прямыми волосами и обильным стадом веснушек, которые весной плодились и разливались по худому треугольному личику, грозя его затопить. Это была тихая двоєчница, которую из тактических соображений посадили за одну парту с Чануровым.

При чем тут природа, похолодела Инночка; она что, с неграми сравнивает?..

— Может быть, ты тоже выскажешься?

Завучиха смотрела прямо на Евсюкову. Девочка цепко держалась за край парты.

— Ну, Люба? — мягко спросила Инна Сергеевна и улыбнулась. Четыре минуты до звонка.

Евсюкова с благодарностью посмотрела на учительницу:

— Мне их жалко ужасно, Нэнси и маму ейную. Потому что у нас вот тоже, когда батя купил мне сандали летом, так не тот размер, а обратно не взяли, хоть ни разу не надеванные...

— Разве папа не знает твой размер обуви? — спросила Инна Сергеевна.

— Не-а! Он просто мимо шел, а там сандали выбросили, и очереди почти никакой.

Терехову было видно в окно, как голуби полностью завладели обедками. Собака куда-то убежала. Студенты торопливо выскакивали из столовой и спешили через дорогу на свои лекции — сейчас должны начаться. Точно: вот и звонок.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

С тех пор как заболел Семен Ильич, физику в седьмом «А» стала вести химичка. Звали ее, как жену Хрущева: Нина Петровна. Высокая и костистая, с неприятно дребезжащим голосом, Нинушка-химичка совсем не была похожа на главную Нину Петровну — та по сравнению с ней выглядела доброй бабушкой.

Сейчас Нинушка проходила между рядами парт и на каждую насыпала небольшую кучку металлических опилок, монотонно повторяя: «Ничего не делаем, пока ничего не делаем». Оделив наконец опилками каждую парту, продолжала своим надтреснутым голосом:

— Возьмем листок бумаги, сверху напишем свою фамилию и число. На следующей строчке — тема: «Магнитное поле тока».

Из угла кто-то тоскливо протянул: «А если у меня нет листка?..»

— Попроси у соседа, — не оборачиваясь, спокойно бросила она и продолжала: — В скобках: «Самостоятельная работа». — Раздраженно повысила голос: — Я сказала: не трогать опилки! Можно руку занозить, это опасно. Дальше...

Нина Петровна не смотрела на часы — не было необходимости. Пускай пожужжат, это неизбежно. Дождавшись тишины, закончила:

— Работаете по двое. Этот опыт я вам продемонстрировала на прошлом уроке, сегодня вы проводите его самостоятельно. На листке — у всех есть листочки? — опишите, как магнит взаимодействует со стальными опилками. Все поняли? Староста, раздай магниты!

Сережка Головкин был старостой по призванию, в этом Алиска была уверена. Он клал магниты на парту широкими дедморозовскими жестами.

Сосед Алиски, Гарик Авесян, под прикрытием листка «Самостоятельная работа» вырезал на парте загадочные буквы: «ТМН». Алиска протянула руку к магниту, но Гарик успел завладеть им первый. Бросив презрительный взгляд на «ТМН», Алиска сощурилась. Рыцарь, тоже мне. Холмик железной трухи на парте был похож на просыпанную марганцовку. Гарька спрятал ножик. Магнит он отдавать не собирался. «Смотри, они ползут, как муравьи!» — пробормотал он восхищенно. Когда Гарик приближал руку, взбесившиеся опилки густо облепляли магнит. За соседними партами происходило то же самое. Нинушка проверяла за столом чьи-то контрольные. «Моя очередь, слышишь?» — напомнила Алиска, листая под партой учебник.

Гарик не торопился. Он водил магнитом по парте, засовывал его под крышку и вытаскивал опять. Алиска давно

заполнила листок и ждала своей очереди. Наконец он сжался и протянул тяжелую железку. «Дай списать», — пробормотал тихонько. «А самому слабó?» — буркнула та, но передвинула листок на середину парты.

До конца урока надо было прожить двадцать пять минут. Алиска поводила по парте магнитом. Если поднести магнит еще ближе, он становился мохнатым от налипших опилок. И это все?..

В окна лилось солнце. На карнизе сидели два голубя. Нежные сизые перышки были распушены и вздыбились, словно птицы прятали головы в воротники от мартовского ветра. После физики — английский.

На стене висели два портрета. Ленин требовательно смотрел в окно, прямо на голубей. Со второго портрета улыбался Хрущев, нисколько не стыдясь простецких своих бородавок. Одно слово: Никита.

От нечего делать Алиска засунула руку в карман передника. Носовой платок. Ластик. Тянушка. Пуговица... Какая пуговица? И тут же вспомнила: никакая не пуговица, а просто вчера матери понадобился чемодан, в котором хранились Алискины старые игрушки. «Можно наконец избавиться от этого барахла?» — рассердилась мать.

«Барахло» — куклу со слежавшимися паклевыми косами, плюшевого жирафа, кукольный сервиз, игру «Кто первый?» — пришлось отнести в соседнюю квартиру, где жили две тихие девочки. Оставался потертый старый медведь. «Избавляться» от мишки было жалко — в детстве Алиска таскала его с собой в детский сад и надевала на его бурую голову свою панамку. Кроме того, мишка обладал ценным свойством: его глаза крепились маленькой двурогой распоркой и легко вынимались и вставлялись обратно. Нет, от-

давать его не хотелось. Алиска упихала медведя в обувную коробку и засунула под кровать. Один глаз она зачем-то вынула и сунула в карман передника: под кроватью все равно темно.

...Гарик надоело гонять железных «муравьев», и он начал потихоньку дуть на опилки. «Перестань», — Алиска боялась занозить пальцы. Гарик азартно пытался задуть опилки в буквы «ТМН».

— Это что там происходит, Авесян? — оторвалась от те-традей Нина Петровна. — Прекрати сейчас же! Кто допи-сал, сдайте работы!

— Ой! — воскликнула Алиска, схватившись рукой за глаз и не додумав еще богатую мысль, а только восхитив-шись ее дерзостью.

— Быстро к медсестре, — встревожилась Нинушка, — пускай промоет глаз. Авесян, доигрался? Проводи Зимину! Я ведь предупредила, чтобы с опилками не баловаться!

В коридоре было пусто. Гарька забега́л вперед, испуган-но бормоча: «В глаз попала, да?» Закрывая по-прежнему глаз, Алиска протянула к нему кулак и разжала пальцы. На ладони лежал блестящий карий глаз.

Армянское смуглое лицо Гарика стало зеленеть. Сейчас вырвет, испугалась Алиска. Сказать? Так врежет, что на-стоящий глаз вылетит...

— Болит? — пролепетал он жалким голосом.

Алиска неопределенно пожала плечами.

— Ладно, пойду к медсестре. Не бойся, — добавила ве-ликодушно, — скажу, что это я сама.

— Может, она вставит? — Гарик смотрел умоляющими глазами — точно такими, как у медведя, темными и блестя-щими.

Медсестра посветила в глаз яркой лампой, на всякий случай промыла и наклеила стерильную нашлепку — от инфекции: «До вечера не снимай».

Последним уроком был английский. Алиску не вызывали. Сидеть с видом тяжело раненного было почетно, но скучно. Гарик покаянно шептал: «Что теперь будет?» — «А что? — скорбно шептала в ответ Алиска. — Так и буду жить, с повязкой. Когда-нибудь потом стеклянный вставят...» Она мысленно видела себя с искусственным глазом — большим, выпуклым и почему-то голубого цвета.

— Я тебя провожу до дому, — решительно сказал Гарик.

Алиске казалось, что все встречные смотрят на нее и на повязку: сочувственно, вопросительно, равнодушно, но — смотрят. У сквера она замедлила шаги.

— Эй.

— Ты чего? — всполошился Гарик. — Больно, да?..

Вместо ответа Алиска вытащила из кармана медвежий глаз и, подкинув вверх, поймала. Врежет или нет? Я бы врезала...

Гарик осторожно протянул руку, нерешительно глядя на девочку. Та улыбнулась и кивнула.

— Откуда?! — мальчик охрип от восхищения.

— От верблюда! В смысле, от медведя. Дурак ты.

— Значит, твой... целый?

— Ну, — Алиска решительно отклеила повязку.

Гарик ликовал. О том, чтобы стукнуть или врезать, и речи не было. Глаза его заблестели, на смутлых щеках показался румянец.

— Слышь, Зимина... — голос его радостно окреп, — дай мне эту штуку на вечер, а? Завтра принесу, честное слово! Лилитку разыграю, сеструху, а то достает по-страшному.

— Посеешь — убью, — пообещала Алиска, моргая освобожденным глазом. — И чтобы больше — никому, понял?

...Гарик понял. На следующий день он вырезал на Алискиной парте буквы «ЯТЛ». Буквы получились неровными, потому что сидеть ему было больно.

...Несмотря на «больше никому», медвежий глаз триумфально переходил от одного кареглазого счастливец к другому и едва не стоил инфаркта некоторым родителям. Когда глаз вернулся к Алиске, мишке он уже не пригодился. Делая уборку, мать наткнулась на коробку под кроватью и решительно выкинула затрепанного одноглазого медведя. Кому, в самом деле, нужно это барахло.

ПОДАРОК НА ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Почему Алиска решила, что бусы самый лучший подарок для мамы, было очевидно — достаточно было посмотреть на них. Бусы и впрямь были неземной красоты: темно-бордовые, как мамина помада, граненые и тяжеленькие — продавщица дала подержать.

Красота стоила два восемьдесят — почти три рубля, серьезные деньги. Полученные на школьные завтраки рубль шестьдесят положили основу капитала. Кроме того, каждый день Алиске выдавали дома пятьдесят копеек на обед в столовой — мать не готовила. «У меня и без этого голова трещит», — говорила она. Каждый день Алиска собиралась обойтись без обеда, но после пятого урока живот урчал громким голосом, и ноги малодушно поворачивали к столовой. Она пристально бурила глазами меню, прикидывая, на чем сэкономить. Например, можно не брать второе, а заказать вместо него салат и полную порцию супа. Или вообще не брать суп, а только второе... плюс булочку

с какао. Нет: не с какао, а с чаем. Или напиться чаю дома, купив по дороге в хлебном булочку. Люди в очереди сердились, обходили девочку в школьной форме, ворчали. Властно вмешивался собственный Алискин аппетит, не дождавшийся школьного завтрака и соблазняемый запахами еды, так что вскоре на столе перед ней появлялись тарелки с супом и котлетами рублеными, итого 46 копеек. Вот и вся экономия, уныло думала она, принимаясь за еду.

До Восьмого марта оставалось пять дней.

В прошлом году она ходила в эту столовую с подружкой Людкой, только Людке мать выдавала на обед целый рубль. Людка заказывала сборную солянку, шницель натуральный вместо Алискиных рубленых котлет и целых два третьих блюда. Людка придвигала тарелку: «Хочешь? Возьми половину; и соус вкусный!», но та мотала головой. Что-то мешало согласиться. Наверное, то, что Людке непонятны были поиски средств на подарок — в этом Алиска убедилась год назад. «Я всегда прошу у матери, — говорила Людка. — Так и так, говорю, хочу купить тебе подарок». — «А она что?» — открыла рот Алиска. «А что она? — засмеялась Людка. — Лезет в кошелек и дает».

Больше никто из их пятого «А» в столовую не ходил, а недавно и Людка перестала — нашла другую столовую, с полезным названием «диетическая». Без подружки легче стало считать деньги.

Эксперимент с полной порцией супа провалился. Суп остывал быстрее, чем Алиска ела, и по краям тарелки скапливалось что-то оранжевое, как мастика на школьном полу. Без котлет рубленых ощущалась пустота не только на столе, но и в желудке; булочек в буфете не оказалось, и только мысль о сэкономленных двадцати восемью копейках по-могла дотянуть до ужина.

— Что на ужин, Аллочка? — спросил отчим, хотя дураком надо быть, чтобы не почувствовать запаха сарделек, которые принесла мать. Алиска заранее сварила картошку и закутала в одеяло. Посреди стола в миске чуть не лопались бледные сардельки, растолстевшие в кипятке.

— Приятного всем аппетита, — напомнил отчим, когда Алиска подцепила вилкой вожделенную сардельку.

— Приятного аппетита, — запоздало буркнула девочка.

Отчим взял сардельку и приступил к высокохудожественной еде, отрезая небольшие кусочки под косым углом. У него на руках были выпуклые, бугрящиеся капустные вены. Медленно жуя, он рассказывал о каких-то трубах у себя на работе.

В этом отчине Алиска сразу разочаровалась. Его длинно звали Эдуард Анатольевич, и сам он был какой-то медленный и подробный. То ли дело прошлый отчим — никакого тебе имени-отчества, просто дядя Аркадий, что само собой выговаривалось как «дядь-Аркадь», а он смеялся. Дядя Аркадий работал шофером на грузовике, иногда высаживал Алиску прямо у школы, хлопал дверцей и кричал: «Бывай!» Он был немножко смешной: маму называл «кисынька», носил один и тот же старый свитер под названием «фуфайка». Перед тем как закурить, дядя Аркадий долго мял папиросу, а потом цепко прикусывал ее золотым зубом. Он научил Алиску свистеть в четыре пальца, так в их классе даже мальчишки не умели, и часто давал ей деньги на мороженое и на кино. Мать сердилась: «Зачем балуешь?», и дядя Аркадий виновато оправдывался: «Кисынька, да ведь каникулы... В кино ходит, ну... не знаю».

У него можно было запросто попросить и на бусы, только дяди Аркадия с ними больше не было. Сверкнул золо-

тым зубом, махнул Алиске рукой: «Бывай!» — и пропал, укатил на своем грузовике.

До дяди Аркадия был какой-то строгий дядька — «калека», как объяснила мать. Алиска ходила тогда в первый класс, и было любопытно и немножко страшно, какой он, калека этот. Наверное, ходит на костылях — у них в доме жил один калека, в соседнем парадном. Дядька пришел с матерью, но без костылей — Алиска специально выходила в прихожую проверить. Он посмотрел на Алиску и спросил: «А ты знаешь, что человек может утонуть в одном глотке воды?» Мало того что никакой не калека, так еще и бестолочь. С ними дядька не жил, просто заходил в гости, каждый раз напоминая Алиске про глоток воды; потом куда-то подевался. Один раз Алиска спросила у матери: почему он без костылей, если калека? Та долго смеялась и повторяла: «Ой, не могу!..» Потом объяснила, что никакой не калека, слава богу, а — коллега: вместе с матерью работал, а теперь уволился; но Алиска была уверена, что утонул — в глотке воды. Скатертью дорога.

...Эдуард Анатольевич денег не даст, ясно и так, можно не просить. На днях мать, придя с работы, бережно достала из сумки мягкий комоч. Алиска задохнулась от предчувствия чуда: котенок?.. Однако серая меховая шкурка безвольно легла на стол и не шевелилась.

— Кто это? — спросила девочка.

— Серебристая норка, — ответила мама, любовно поглаживая мех.

— Аллочка, что это такое? — вошедший Эдуард Анатольевич аккуратно поставил портфель на стул. — И главное, с какой радости?

Выслушав ответ, он обронил кисло-сладко, что жить надо скромнее, «не те у нас достатки». Мать вспыхнула:

— Что, я не имею права себе зимнее пальто заказать? Или, может, мне собачий воротник поставить?

Эдуард Анатольевич, никогда не повышавший голоса, спокойно парировал упрек:

— Отличай, Аллочка, скупость от бережливости. В моем отделе женщины носят цигейку, между прочим.

— Пускай у их мужей голова болит, — отрезала мать. — И я, к счастью, не в твоём отделе.

Собачий воротник даже представить было страшно. Зато норка! Серебристая! Вот мама расстегивает пальто, а под воротником на шее — бусы, да какие! Все спрашивают: «Откуда у вас, Аллочка, такая прелесть?» А мама гордо так отвечает: «Дочка подарила, на Восьмое марта».

— Какой смысл, Аллочка, шить зимнее пальто, когда весна на дворе? Женская логика.

Эдуард Анатольевич снисходительно улыбнулся и сложил прочитанную газету.

— Такой смысл, что в ателье нет очереди. Сошьют быстро, а в марте холодно бывает. Никакая не женская, а просто логика.

— Ну не знаю, — протянул отчим, — на мой взгляд, твое пальто имеет вполне приличный вид.

Препирались еще какое-то время, потом Эдуард Анатольевич ушел к приятелю играть в шахматы.

— Дядя Аркадий бы не пожилится, — не выдержала девочка, когда они с матерью мыли посуду.

— «Дядя Аркадий»... — раздраженно передразнила мать. — Деревня твой дядя Аркадий, одно слово. Норку от кошки не отличит.

— А этот отличит?

— Не «этот», а «Эдуард Анатольевич», сколько раз говорить! Отличит, еще как отличит! Он интеллигентный чело-

век. И не лезь во взрослые дела, у меня и без этого голова трещит.

Эдуард Анатольевич вернулся в хорошем настроении — выиграл «блиц»; знать бы, что это такое. Повертел в руках серебристую норку и торжественно сообщил жене, что мех — его подарок *в рассуждении наступающего Женского праздника*. Так и сказал.

«Вот, — горько думала Алиска в темноте, — даже у этого жилы готов подарок, хоть мама сама купила. А я?..»

Зато мой подарок будет сюрприз, и ни в каком не «в рассуждении», а просто «любимой мамочке от Алисы», как она напишет на открытке. Внезапно ее охватила паника: вдруг в магазине кончились бусы?! Расхватали, например. Или те, которые она держала в руках, были последние?

До Восьмого марта три дня. Попросить деньги у отца? На Новый год и попросила, так мать потом призналась, что получила «втык» от него: мало я денег на ребенка даю?! От этого втыка перепало и Алиске. «Чего тебе не хватает? — кричала мать, и на лбу у нее собирались морщины, как у школьной уборщицы. — Нет, ты скажи, чего тебе конкретно не хватает, чтобы меня не попрекали, будто я ребенку в чем-то отказываю! Все у тебя есть, зачем ты клянчишь у него деньги? Хотя сам должен соображать — что там за алименты: кот заплакал, стыдно людям в глаза смотреть... А если тебе надо что-то — скажи, нечего посмешище из меня делать!»

... Два восемьдесят минус рубль шестьдесят, минус двадцать восемь копеек и... вот еще шестнадцать — замотанная сдача из овощного, — это сколько получается? Семьдесят шесть копеек получается, вот что. Полтора обеда, если не ходить в столовую. Только бы не разобрали бусы, красоту неземную...

На следующий день Алиска, задыхаясь, влетела в магазин. Бусы лежали на месте, в витрине. За прилавком стояла другая продавщица, строгая на вид, и девочка не решилась обратиться к ней. Продавщица выдвигала и задвигала какие-то ящички, но все время бросала на Алиску бдительные взгляды.

· Семьдесят шесть копеек. Алиска неслась домой, подгоняемая новой идеей. Вернее, идея была стара как мир — или почти как мир, потому что почерпнута была из мальшовой сказки, в которой старуха по амбарам помела, по сусекам поскребла, в результате чего испекла колобок. А я что, рыжая?..

Ни амбаров, ни тем более загадочных сусеков в их квартире не было, зато в шкафу висели летние вещи, у которых было существенное достоинство, не хуже амбаров и сусеков: карманы. В болоньевом плаще Эдуарда Анатольевича нашлась двадцатикопеечная монета. В карманах серого костюма — еще тридцать четыре копейки; живем! У него был еще один плащ, плотный, как пальто, но там завалялся потемневший пятак — и больше ничего. Буржуй, неприязненно подумала девочка. Жила и буржуй, и руки противные. Оставалось наскрести семнадцать копеек — и можно бежать за подарком. С другой стороны висели мамины вещи — летнее пальто и старенький плащ с оборванным хлястиком.

...в кармане которого лежал рубль, сложенный фантиком! Сильно заколотилось сердце. «Потому что я воровка», — мелькнула мысль. *По-то-му-что-ты-во-ров-ка*, согласилось сердце — то самое сердце, которое молчало, пока она шарила по карманам отчима. Девочка ткнулась горящим лицом в серую ткань и стояла не двигаясь. Отдвинулась, расправила вешалки и два раза пересчитала все свое богатство. Отделив восемьдесят три копейки, поло-

жила в карман плаща. Я отдам, вот увидишь, уверяла она плащ; я просто беру в долг. А семнадцать копеек я завтра добавлю, честное слово.

И закрыла шкаф.

Муж уходил на работу раньше всех, а 8-го особенно торопился: «Мне поручено купить цветы». Дочка была в ванной. «*Любимой мамочке от Алисы*», — прочитала Алла. Рядом лежал небольшой сверток в папиросной бумаге; развернула. Полная безвкусица! Где она взяла этот ширпотреб и зачем?.. И открытка не лучше: сирень и розы, все бордовое, как борщ; бред сивой кобылы...

— Тебе нравится? — Алиска сияла от счастья.

Не улыбнуться было невозможно. Какой же она еще ребенок.

— Спасибо, очень!

— Ты сегодня наденешь их, правда?

— Конечно, — соврала Алла. — Где ты достала такую прелесть?

Девочка не поняла иронии.

— Секрет! — выкрикнула радостно. — Давай, я тебе застегну, там замок хитрый.

Алла обреченно наклонила голову. Перед людьми в этом кошмаре не появишься — надо будет снять.

Кошмар приятно охлаждал шею, напоминая о необходимости как-то от него избавиться, а потом бусы согрелись, и Алла забыла о них. Сдала пальто в гардероб, глянула на часы, а вот в зеркало смотреть уже было некогда, так и вбежала в свой сектор. Села — и сразу зазвонил телефон, рабочий день начался. Только в полдень, когда люди потянулись в столовую, Алла тоже встала. Надо сегодня же позвонить в ателье, подумала она. Не одна я такая умная.

— Специально на праздник надела? — поинтересовалась сотрудница, с которой они встретились в дверях столовой.

— В смысле? — подняла брови Алла, но та бесцеремонным пальцем уже подцепила бусы, будь они неладны. — Очень эффектно. Нет, правда; откуда такая красота?

Никакой иронии — самый искренний интерес. Притворяется?..

Женщина и не думала притворяться. Они принялись за обед, и та продолжала расхваливать бусы.

— Муж подарил? — спросила с затаенной завистью. — Или фамильная драгоценность?

Алла чуть не расхохоталась. Эту фамильную драгоценность моя пятиклассница дочка купила в нашем галантерейном. Однако можно разыграть эту курицу. Что я теряю, раз уже не сняла вовремя? Потом вместе посмеемся.

Взяла вилку и равнодушно пожала плечами.

— Муж норку на пальто подарил, — ответила, прожевав. — А это... я не хотела афишировать, но вещь действительно старинная, глаз у тебя наметанный. Прабабка моя носила.

— Рубины? — глаза женщины вдохновенно загорелись.

— Ну зачем, — Алла опустила глаза, — рубины — дешево. Это уральские гранаты.

Отодвинула тарелку и поморщилась:

— Из чего они делают эти биточки? Сорок копеек, а сплошной хлеб.

— Я беру бефстроганов, — ответила сотрудница, не отводя взгляда от бус. — Всего сорок восемь копеек, зато натуральное мясо.

АЗОРСКИЕ ОСТРОВА

В самом захудалом НИИ 60-х годов непременно имелся секретарь — вернее, секретарша, вооруженная пишущей машинкой, дыроколом и прочей снастью, необходимой для делопроизводства. Секретарша размещалась в приемной, рядом с директорской дверью.

НИИПТ, что бы это ни значило, был не таким уж захудалым, если секретариату полагался штатный курьер. Это оказалось очень кстати для Аськи.

Пожилый кадровик окинул критическим взглядом ее щуплую фигуру, спросил паспорт. «Учитесь?» — «Да, в университете». — «Заочница будете?» — «На вечернем».

В обязанности курьера входила сортировка почты и развоз конвертов и пакетов по городу, в разных местах которого были рассеяны филиалы, отделы и лаборатории НИИ.

Вначале Аська металась по городу, как кошка на пожаре, но месяца через полтора приспособилась комплекто-

вать почту таким образом, чтобы ездить с минимальным количеством пересадок.

Технологический отдел находился в самом центре, неподалеку от Аськиного факультета, поэтому поездка туда завершила ее рабочий день.

У нового технолога была необычная фамилия Очерет и внешность испанского гранда: треугольная бородка с усами, смуглость, впалые щеки. Неторопливо протягивал руку за почтой, гудел низким голосом: «Благодарю». Все остальные говорили: «Спасибо, Асенька!» Но то другие, а то — вот этот, с необычной фамилией и сам необычный.

Секретарша главного технолога сказала, что «гранду» тридцать один год, зовут Глебом. Добавила, что новенький не женат и «все наши бабы дико втрескались в него».

— А чего в нем особенного, скажи? — возмущенно добавила, чуть покраснев.

— Абсолютно ничего, — согласилась Аська.

В самом деле: ничего особенного. Ну борода; подумаешь! Ему подошел бы такой воротник, как на обложке «Дон Кихота». Шариковая ручка легко двигалась по странице тетради, выводя ровный хоровод восьмерок — точь-в-точь сервантесовский воротник в сечении, а над ним лицо в усах и бороде. Спohватившись, Аська перевернула страницу и начала переписывать с доски формулу.

Следующая неделя началась неинтересно: почты для технологов не было. Несколько дней на работе и лекциях прошли в маете, но технология, к счастью, не стояла на месте, потому что вскоре радостная Аська взлетала по знакомой лестнице, сжимая в руке пачку конвертов. Один из них был адресован «ст. инж. Г. Очерету». «Я очерет, ты очерет, он, она, оно очерет», — крутилась в Аськиной голове веселая ерунда, пока она неслась по коридору. Впереди по-

явился «испанец». Он шел медленно и бесшумно, как ходят коты, и каждый шаг был упругим.

— Для меня что-то есть? — прогудел низко.

Аська так волновалась, что выронила конверты. Нагнулась одновременно с Очеретом и тупо смотрела, как он быстро собирает почту своими ловкими смуглыми руками. Встал упруго и, взяв Аську за локти, поднял с пола, совершенно пунцовую.

— Вы тут аккуратней, — сказал, удаляясь.

В тот вечер она не пошла на лекции. Слонялась по городу, заходила в кафе, потом опять бесцельно бродила по улицам. Почти все прохожие были в болоньевых плащах, весенний ветер надувал плащ, и Аське хотелось взлететь над крышами, как воздушный шар. Она вспоминала, какие необычные у него руки, видела гибкие смуглые пальцы с редкой черной порослью на нижней фаланге. И как он неожиданно улыбнулся: всегда сомкнутый рот раздвинулся, сверкнули зубы. Дикая зверь из породы кошачьих, грациозный и непонятный. Опасный: то ли укусит, то ли прильнет и приласкается. От этой мысли Аську бросало в жар, словно она почувствовала прикосновение бороды — колючая? мягкая? Зажмуривалась и мотала головой, чтобы не думать о нем, а ветер охлаждал горящее лицо, и хорошо бы, если б он унес это смятение, как подхватил и гонит вдоль парашюта чей-то легкий шарф... И думать надо было о надвигающейся сессии, поэтому Аська таскала с собой толстый учебник. Садилась на скамейку, раскрывала страшное в своей непонятности уравнение Шредингера и сидела не двигаясь, а ветер торопливо перелистывал страницы.

...Хорошо бы встретить его случайно — ведь может же одинокий тридцатилетний мужчина гулять по набе-

режной? Конечно, может. «Ася? — удивится он. — Что вы читаете так сосредоточенно?» — «К сессии готовлюсь», — бросит она небрежно и посмотрит коротко затуманенным наукой взглядом, потому что совсем не посмотреть будет невежливо. Глаза у него темные-темные, чуть раскосые; опасные глаза, лучше не всматриваться... Что будет дальше? Наверное, скажет свое «всех благ» — и пойдет дальше. Никто так не прощается, только он; каких «благ» желает, непонятно. Впрочем, все может обернуться иначе. Например, пригласит в кафе, заговорит об одиночестве, и выйдут они из кафе, когда уже стемнеет, он возьмет ее под руку... Потом, через несколько лет, они будут вспоминать этот день, и смеяться, и радоваться, что все так удачно сложилось, потому что... потому что первым родится мальчик, а через год — девочка, и Глеб — милый, родной Глеб — будет приходить с работы и подхватывать детей на руки, но сначала поцелует ее... Снова бросало в жар, и не было этому конца.

Аська потеряла всякую способность соображать. Мать, обычно сосредоточенная на своей мигрени, заволновалась, начала задавать глупые, беспомощные вопросы, но Аська сослалась на сессию, на вопросы рычала и огрызалась, и мать отстала, на всякий случай обидевшись. А недавно горделиво призналась по телефону подруге: «Асенька сама не своя перед экзаменами, вся на нервах!»

Аська была вся в любви — глупой, глухой и безнадежной. По утрам она с трепетом разбирала почту, ликуя при виде стопки или хотя бы тощей пачечки конвертов, адресованных технологическому отделу.

В один из майских дней она появилась у технологов, как всегда, в конце дня и замерла на пороге. Столы были сдвинуты к окнам, на них громоздились бутылки с вином,

стаканы и торт, а Галка-секретарша ставила в вазу тюльпаны. «У кого день рождения?» — шепотом спросила Аська, но к ней подскочил румяный лысый толстяк: «Асенька, вот как вовремя! Не отпущу, не отпущу: у нас тут сабантуй!»

Якова Ароновича провожали на пенсию. «Мне на лекцию надо», — нерешительно промямлила Аська, но краем глаза успела заметить знакомый стол и смуглую руку со стаканом, отчего и факультет, и сессия отодвинулись так же далеко, как и сам Шредингер, автор непонятого уравнения. Виножник торжества протянул ей стакан с красным вином и приобнял за плечи: «Асенька, красавица моя, как же я без тебя и без почты твоей жить буду?»

Чей-то женский голос крикнул: «Я ревную, Яков Ароныч!» Раздался смех. От смущения Аська выпила вино, словно сок. Другая женщина спросила кокетливо: «Яша, вы только Асю любите или вообще рьжих?» Аська стояла напротив Якова Ароновича, потому что могла видеть, как худая рука подносит к бороде стакан, а дальше можно было гадать, как это вино не проливается, по усам не течет, а в рот попадает, что за чушь в голову лезет.

Он аккуратно поставил стакан и поднял глаза на Аську. Та сидела рядом с Яковым Ароновичем, который тихо и серьезно спросил: «Что я буду делать на пенсии, вот в чем вопрос. А, Асенька?» — «Тогда, может, не надо? Не уходите?..» — нерешительно предложила она. «Я бы не уходил, так ведь меня ушли....» — непонятно усмехнулся старик. Помолчал, а потом продолжил: «А ты, Асенька, баб не слушай: завидуют. Чем рьжей, тем дорожей; запомни».

— Галочка, торт! — наперебой кричали женщины. — Давайте торт резать!

— Хотите вина? — послышался рядом знакомый низкий голос.

Он мог предложить кефир, яд или нектар — Аська согласилась бы не колеблясь. Он лил медленно, но смотрел не на вино, а на Аську, однако же бутылку отвел, когда стакан наполнился.

— Н-ну, — шевельнул усом, — выпьем за здоровье нашего славного Якова Ароновича!

И первым поднес ко рту вино, а потом повернулся и мягко, бесшумно двинулся... не к выходу, нет, с облегчением выдохнула Аська, — к телефону. Черная борода слегка шевелилась, когда он говорил что-то в трубку, но Аське вдруг стало спокойно и как-то уютно. Милый Яков Аронович, он такой славный старикан! И тетки, которые хохочут над тортом и облизывают то нож, то пальцы, тоже милые. Захотелось присесть тут же, за пустым столом, открыть учебник — и все должно в голове уложиться само собой. Ей совали блюдец с тортом, однако на креме прилип чей-то волос, и Аська помотала головой: «Спасибо, не хочу». — «Смотри, закосеешь, — предупредила Галка, — съешь кусочек». Зазвучала музыка. Стало понятно, зачем сдвинули столы, потому что Яков Аронович, еще более румяный, повел в танце смеющуюся блондинку, со старомодной бережностью обнимая ее за талию. Галка танцевала с начальником отдела; еще несколько пар вышли на середину. «А где Глеб? Глеба никто не видел?» — женщина повернулась к Аське. «Курить пошел», — ответил кто-то.

В коридоре было дымно и полутемно. Аська направилась к лестнице.

— Н-ну? — вдруг услышала за спиной. — Самое время для кофе с коньяком?

Он протянул руку.

Голова у Аськи кружилась не только от вина, но и от его прикосновения; могла ли она ответить «нет»? Выговорить «да» тоже не получилось; она кивнула.

На улице было светлее, чем внутри. Глеб не держал боль-ше Аську за руку, но в ладони жило касание его пальцев. Он плавно двигался на полшага впереди, ступая мягко и упру-го. Зверь, как есть зверь, думала она, но шла за ним послуш-но, как привязанная.

— Нам сюда.

Ступеньки вели вниз, в погребок, откуда несся запах кофе и сигаретного дыма. На стенах над маленькими сто-ликами висели тусклые бра; другого света не было. В душ-ном сумраке все выглядело таинственно.

— Мне двойной, как обычно, — и официантка понят-ливо кивнула: помню, как же. На Аську она не посмотрела.

— А девушке... — Он перевел взгляд с официантки на Аську. — Вы что будете?

Аська ничего не ела с двенадцати часов, но тут и ни-кто не ел, а только тянули что-то из рюмок, прихлебыва-ли кофе и курили. Она пожала плечами: «Кофе, наверное». Блестящий ус шевельнулся, словно мохнатый зверек. Офи-циантка чиркнула в блокнотике, и он добавил негромко:

— Да. Коньяк, два по пятьдесят. Пока все, — и дернул ще-кой, отпуская.

То, что она себе намечтала во время одинокой прогул-ки, осуществилось: они сидели вдвоем в кафе. Однако раз-говаривать было не о чем. Аська нерешительно выдавила:

— Жалко, что Яков Ароньч уходит, правда?

От неяркого настенного светильника глаза у него блес-нули желтым.

— Вы полагаете?

— Конечно. По-моему, он ужасно милый, — Аська заго-ворила уверенней.

— И что же? — шевельнулся ус. — Кому, интересно, это надо? Равно как устарелые технологии, немецкий в совер-

пешестве, ученая степень и прочие благоглупости. Старые пни надо выкорчевывать, это только закономерно.

От коньяка голод усилился. Вспомнив торт и волос на розовом креме, Аська торопливо сделала новый глоток. Внутри было пусто и горячо. Вдруг стало легко, легко и свободно, даже захотелось дотронуться до смуглой руки, держащей рюмку.

— Н-ну, я не говорю уже о том, что из-за таких, как этот ваш Яков Аронович, более подходящие специалисты сидят на ста сорока рублях, а между тем...

Он, наверное, подумает, что я какая-то распущенная или что, если дотронусь. Аська покосилась на соседний столик. Девушка улыбнулась и поправила спутнику волосы.

— ...говорю, что так и жизнь пройдет, как прошли...

— Азорские острова, — подхватила Аська.

— Н-ну, положим, Канарские.

— Нет, — заволновалась Аська, — Азорские, я точно помню!

— Канарские, Ася. Канарские. Не спорьте.

Он закурил.

— Тем более что пройдут и те и другие, а мы с вами не заметим.

Аське было обидно — за Маяковского, и за себя, и за Яков Ароныча. Но Маяковскому, по сути дела, все равно, а главное то, что они сидят вдвоем в кафе, сидят и разговаривают. Прислушавшись, она поняла, что речь идет все о том же Яков Ароныче.

— ...не только он, конечно. Косности, к сожалению, больше чем хотелось бы.

— А сколько вам хотелось бы? — непринужденно отозвалась Аська — или коньяк в Аське, — и больше не было страшно. Волосы у него наверняка мягкие — вон как по-

слушно лежат. Облокотилась на стол и неожиданно для себя спросила:

— Откуда у вас такое имя: Глеб?

Ус иронически дернулся.

— От мамы с папой. Как и у вас, впрочем.

Отхлебнув коньяк, Аська простодушно рассказала, что мама с папой хотели назвать ее Людмилой, Люсей, но бабуля, бабушка моя, обиделась. Которую зовут Асей. Вернее, звали, потому что бабули больше нет — она умерла, когда мне было четыре года...

Когда и, главное, как на столике появились чашки с кофе и полные рюмки коньяка, Аська не заметила.

— Все-таки он чудный старик, — вернулась она к Якову Ароновичу.

— Бога ради, — прозвучал холодный ответ. — Пусть он остается милым и чудным, но в отделе есть на кого опереться без него, вы уж мне поверьте.

— Верю, — истово подтвердила Аська.

— Если бы не инсинуации всякого рода...

Он промокнул салфеткой усы. Аська не знала, что такое «инсинуации», и сочувственно кивнула. Дома надо посмотреть в «Словаре иностранных слов», там будет.

— Н-ну? Может быть, зайдём ко мне? — Спросил равнодушно, закрывая бумажник, но Аська обмерла.

Надо было встать — он протянул руку, и Аська вскочила поспешно, поправив юбку. Когда шли по проходу, его рука легко придерживала ее за талию. Только бы блузка не вылезла, мамочка моя.

— Мы ведь не надолго? — спросила жалким голосом.

Дернулся, шевельнулся ус.

— Нет, конечно.

По пути заскочила в автомат — к Аськиному счастью, он работал. Трубку взял отец, которому и наплела бойко и лживо про день рождения подружки («это с нашего курса, ты не знаешь») и что заночует у нее, не тащиться же ночью через весь город. Повесила трубку, словно зачет сдала.

Свернули с проспекта в переулок, потом еще один. Аська любовалась точеным испанским профилем и заметила только, как прошли мимо закрытого галантерейного магазинчика. В витрине пылился вялый капроновый чулок, свисающий с пачек мыла, уложенных лесенкой.

— Вот здесь я обретаюсь.

Технолог обрелся в высоком мрачном доме со старинным лифтом, в котором они поднимались бесконечно долго. Наконец лифт остановился с лязгом, хозяин пророкотал: «Прошу» и неуловимым движением фокусника вынул ключ.

Коридор в квартире тоже был темен. Неслышно, как все, что он делал, отворил дверь и только тогда щелкнул выключателем. Где-то под самым потолком зажглась лампочка. В узкой комнате стало видно окно, высокое и тоже узкое, как бойница, топчан под пледом и книжная полка в изголовье.

— Присаживайтесь, — смутлая рука указала на топчан, — больше некуда. Жизненного пространства немного.

Он сел сам и взял Аську за руку. Та послушно бухнулась рядом. Двумя пальцами он осторожно снял у нее с плеча рыжий выющийся волос и брезгливо дунул:

— Ужасны вы в быту.

Засмеялся, откинулся на спину, увлекая за собой Аську.

«Сейчас все будет», — обреченно подумала она, когда смутлые руки властно притянули ее лицо. Усы разомкнулись, и рот, яркий и жадный, втянул ее губы.

В последний раз, он же первый, Аська целовалась после выпускного вечера, когда все пошли гулять на набережную. Витка нес ее туфли. Целовались на скамейке, где туфли и забыли, потом пришлось возвращаться. Было это год назад.

Год назад она не знала, что влюбится без памяти в чужого, непонятного и опасного человека, который сейчас отодвинулся и смотрел на нее. Взял ее руку и, потянув, прижал к своему животу, не отводя взгляда. Держать руку на твердом комке Аське было стыдно, убрать — неловко: обидится. «Сейчас, сейчас будет», — стучало в голове, хотя смутно представляла, как все *это* должно быть. Девчонки говорили, что в первый раз больно, зато потом приятно. Влезла и закрутилась фраза из какого-то старого романа: «Дышала ночь восторгом сладострастья...», а дальше Аська не помнила.

А дальше ловкие пальцы расстегнули на ней все, что подлежало расстегиванию, и одновременно куда-то подевался плед — на пол, наверное, где вперемешку валялась одежда.

И все было.

И все, что было, ничего не оставило в Аське, кроме стыда, резкой боли и неловкости за происшедшее.

Рядом устало вытянулось грациозное смуглое мужское тело. Рот растянулся в мощном зевке:

— Ложись спать, Ася.

— Я люблю вас, — выговорила Аська то, что час назад еще было правдой.

Ус дернулся в усмешке, голос строго ответил:

— Вам нужно замуж выходить, Ася.

Тихонько встала и торопливо натянула одежду. Сняла с дверной ручки сумку и вышла, осторожно закрыв дверь.

Не ждала лифта — промчалась вниз неизвестно сколько пролетов и выбежала на улицу.

До самого вокзала не встретилось ни одного такси. В четыре часа утра вокзальный туалет был пуст. Аська долго плескала в лицо холодной водой. От жестких усов саднило кожу. На раковине валялся серый обмылок, но лучше хозяйственное, чем ничего. Долго терла шею и руки, пока не покраснели и не потеряли чувствительность.

Никакие не Канарские, а вовсе даже Азорские острова.

И долго, долго шла домой, хотя в кошельке было почти четыре рубля.

СЧАСТЛИВЫЙ ФЕЛИКС

Конспект романа

Дина и Феликс познакомились в очереди. Не в вульгарной давке за копченой колбасой или даже апельсинами и не в интеллигентной очереди за книжным дефицитом, а в приемной комиссии. Оба страстно хотели стать геологами и потому принесли документы в Горный институт родного города, который назывался в те времена Ленинградом, и невозможно было представить, что когда-нибудь он снова превратится в Петербург, тем более «Санкт».

Девушка стояла перед Феликсом, и ему была видна тонкая шея с нежным русым завитком посередине — точь-в-точь вялый перевернутый вопросительный знак. Хотелось на него дунуть. Волосы были завязаны «хвостиком» на затылке. Сдавая документы, девушка обернулась и тревожно взглянула на Феликса. Пока полная женщина, член комис-

Впервые опубликовано: «Новый журнал», Нью-Йорк, № 283, 2016.

сии, выписывала ей экзаменационный листок, и Феликс прочитал имя: Палей Дина.

Феликс окончил школу с золотой медалью и в приемной комиссии не задержался. Когда он выбежал из института, девушки не было. Сдавать экзамены ему не нужно было, но зачем-то он пришел на самый первый и долго толокся в коридоре, пока из двери аудитории не показалась Палей Дина. На щеках у нее польхали алые пятна, лицо было несчастное, большой палец она по-детски держала во рту, прикусив ноготь. При виде Феликса девушка не удивилась, только горестно покачала головой. «Все пропало, — сказала убитым голосом, — я не решила».

Феликс усадил ее на скамейку тут же, в коридоре, и заставил повторить условие задачи. Решил и поднял глаза: «Так?»

Дина, как выяснилось, решала более громоздким способом, но, судя по ответу, верно.

То, что Феликс наблюдал, было воскрешением из мертвых: она оживала на глазах. Когда ожила полностью, они пошли есть мороженое. Там же, в дверях института, Феликс взял ее за руку.

...И больше, казалось, эту руку не отпускал.

После каждого экзамена он встречал Дину, привыкнув уже к закушенному ногтю, а на следующее утро прибегал в институт и бросался к вывешенному списку, выискивая строчку «Палей Д.» и холодея при мысли: вдруг не найдет?.. Потом встречал Дину и брал — уже привычно — за руку. Это продолжалось с первого по пятый курс, и все это время Феликс не отпускал Дининой руки, вел ее, в самом буквальном смысле, сквозь все премудрости геологических наук. Все предметы давались ему на редкость легко, в то время как она в отчаянии закусывала ноготь, продираясь сквозь палеонтологию, минералогию, геофизику...

Поженились они на третьем курсе — так, не размыкая рук, и вошли в ЗАГС. И не потому что в этом появилась существенная необходимость, а просто шли мимо, переглянулись... и Феликс решительно взялся за ручку двери.

Диночка легко рассталась с фамилией Палей — палая листва, пух с тополей — и стала, в соответствии с законодательством, Диной Заенчковской. Хотя могла бы не торопиться, думала с застывшей улыбкой мать Феликса, только что ставшая свекровью. Как всякая мать, она не спешила видеть сына женатым, но если уж это стряслось, то пусть бы рядом с ним стояла красивая, яркая девушка, а не эта... глиста в обмороке. Заенчковский-отец, считая себя чело-веком в высшей степени терпимым, отметил мысленно Диночкину недокормленность и удивился: что сын в ней нашел?..

Феликсу, понятно, такого вопроса не задавали — при-выкли за несколько лет видеть Дину в доме, но надеялись, что сын-отличник помогает отстающей однокурснице по-стигать премудрости геологии, не более того.

Оказалось, намного более.

Сама того не зная, их чувства полностью разделяла кра-сивая, яркая девушка — староста группы, умница и всеоб-щая любимица Алена Локшина, давно мысленно приме-рявшая фамилию Феликса. Не потому что своя надоела, а просто была уверена, что нашла бы куда лучшее приме-нение его фамилии, чем эта недотыкомка, не отличающая гранит от граната, которую за ручку водят, и кто? Феликс, Феликс!.. Алена держала большой букет и старательно рас-правляла цветы. Одна роза сломалась, и черт с ней; пере-бьется Дина-сардина. Черт с ней, черт с ними...

Диночкины родители улыбались, но было видно, что у Палеев собственная гордость: их нежная, хрупкая Диноч-

ка почему-то выбрала Феликса; пусть он попробует не соответствовать — о большем не мечтали.

В общем, и те и другие родители мысленно считали происходящее неравным браком. Как будто существуют браки равные, усмехнулся про себя Диночкин отец. Конечно, если бы спросили его мнения... Только его мнения давно никто не спрашивал; он вздохнул и перевел взгляд на молодых, ревниво любуясь зятем.

И ничего удивительного. Хорош собой был Феликс и похож на рыцаря — римский профиль, темно-серые глаза, а волосы золотистые и густые, му́ка для парикмахеров: «Здесь немножко проредим, молодой человек, а то волос будет плохо лежать». Не каланча, но на голову выше маленькой Дины и широк в плечах. Одним словом, рыцарь в новеньких свадебных доспехах.

...Их миновала чаша проживания бок о бок с родителями, поскольку за полгода до свадьбы умерла Динина бабка, и Дину прописали на жилплощадь деда, чтобы старику было не так одиноко, и... вообще: прописка никому не мешает. Дальновидное соображение очень помогло. Старик, оставшись один, затосковал, и гой в качестве мужа любимой внучки не прибавлял оптимизма. Хотя молодой человек обходителен и заботлив, он не покупает печенье с орехами, мученье для вставных зубов, однако печенье печенем, а всем известна любовь поляков к евреям. Куда мир катится?.. Старик умер, так и не найдя ответа на свой вопрос.

Дина с Феликсом ждали распределения на Дальний Восток или в Сибирь, где самая романтика, ведь они не так давно перешагнули за двадцать, а календарь показывал конец шестидесятых, и спрос на романтику был высок.

Придя в институт с золотой медалью, Феликс окончил его с красным дипломом. Он устал за последние месяцы,

потому что писать пришлось не только свою, но и Диночку работу; защитилась она на четыре балла.

За неделю до распределения все выпускники-геологи должны были пройти флюорографию. Несмотря на то что многие хорохорились — черт возьми, мы взрослые люди, дипломированные специалисты! — пришлось-таки подвергнуться ненужной процедуре. В результате вопрос о Диночкином распределении был отложен, зато назначены новые обследования.

...которые подтвердили ТБС. Туберкулез. Как — ТБС? Откуда?! Многие студенты курили, курила и Дина, а что закашливалась, так это дешевые сигареты виноваты. Возможно; многие курили «Приму», кто-то даже бравировал «Памиром», однако только у Диночки беспощадные лучи высветили каверны в легком. В результате вместо Дальнего Востока или Сибири она попала в больницу — с туберкулезом шутки плохи.

Перед лицом обстоятельств и те и другие родители застесались, сплотились, чтобы не сказать — сроднились. Сплочение происходило в квартире Палеев, при никому не нужном остывающем чае. Диночкина мать дрожащими руками резала торт, одними губами повторяя: «Что же делать, что же делать», и Заенчковский с трудом подавлял раздражение. Камвольный комбинат, одно слово. Будучи человеком в высшей степени терпимым, он этим даже несколько бравировал: вот, породнились с рабочим классом. И объяснял, что сваты, хоть и евреи, но всю жизнь работают на своем камвольном комбинате: она, дескать, бригадир, а муж — то ли мастер, то ли начальник цеха, не припомню. Приятели удивлялись, и вот тут-то самое время было пожать плечами: вот, не все евреи врачи да эйнштейны, понимаешь.

Должность мог «припомнить» только сам Яков Палей. Он поднялся по служебной лестнице до главного инженера крупного камвольного комбината и был благодарен судьбе, что не пошел по творческой части: «космополитов» мели вовсю. Через год-другой стало ясно, что кончат трясти одних космополитов, возьмутся за других — например, прицепятся к костюмному сукну, без которого, как ни крути, не обойтись, и к тем, кто его производит. А тут его перевели в Ленинград: якобы поделиться опытом, наладить производство. Нет, в поезде не взяли, зато в Бологом прихватило Палея так, что прямо со станции в больницу отправили. Что-то там в ребухе... желчный пузырь, что ли, взбунтовался. Когда приехали в Ленинград, его ждали строгий выговор за прогул и понижение в должности. Понижали с особой любовью к космополитам: стал «делиться опытом» в цеху. Через полтора года умер отец народов, и Якова назначили мастером; со временем и в начальники цеха перевели. Жена — в другом цеху, бригадиром... Да ой, лишь бы Динку на ноги поставить! И жевал картонный вафельный торт.

Феликса за столом не было — умчался в больницу к жене, где и сидел, привычно держа ее за руку.

Спокойнее всех была Диночка, потому что готовилась красиво умереть. Она читала, что при туберкулезе женщины хорошеют, а хорошенькие всегда умирают красиво. Как Пат из «Трех товарищей» или дама с камелиями. Наверное, камелии — это вроде лилий, тоже слово извилистое. По-настоящему Дине больше нравились розы, но лилии, конечно, для гроба подходят лучше. Она вздохнула, передернув плечами.

— Замерзла? — вскочил Феликс.

Она грустно улыбнулась и покачала головой. Бедный Феликс, как он будет страдать. И родители. Сама она ничего не

будет чувствовать, усыпанная лилиями. Свекровь — ехидна, змея подколодная — обрадуется, но будет стоять с постоянной миной, как полагается, а цветы принесет самые безвкусные, какие-нибудь калты; даже название противное, фу.

Пока Диночка с упоением репетировала нарядную смерть, ее свекровь, ехидна и змея подколодная, взяла судьбу невестки в свои руки:

— Где у вас телефон?..

Один-единственный звонок ничего не решил, но привел в действие людей, как-то связанных друг с другом, и через неделю Дину перевели из районной больницы в НИИ туберкулеза. Серьезное обследование нужно было делать, по мнению змеи подколодной, именно здесь.

Если мать Феликса была змеей, то скорее из разряда гремучих, потому что Динины родители повиновались ей полностью: ей виднее, она — доктор... Как Заенчковские не имели понятия о камвольном производстве, так и сваты их не знали, по каким болезням она доктор. И хорошо, что не знали, — Аглая была патологоанатомом. Оба Палея были защищены от осознания дочкиной болезни своей полной медицинской девственностью — Яшин желчный пузырь давно был забыт. Слово «чахотка» звучало жутко, но сейчас ведь не XIX век, и туберкулез лечат! — есть санатории, всесоюзные здравницы, вот у нас на комбинате путевки бывают...

Институт туберкулеза, несмотря на строгое научное название, оказался старой, обшарпанной больницей, чем Дину очень разочаровал. Горевать, однако, было некогда: гоняли ее по разным кабинетам, почти всю кровь на анализы высосали; про бронхоскопию и говорить нечего: концлагерь какой-то. И с Феликсом целоваться запретили, да кто их слушает?..

И тут выяснилось, что необходима операция. Вначале подлечиться, отдохнуть в санатории — вы же только что диплом защитили? Вот после санатория и прооперируем.

Этого, воля ваша, Динкина мама понять не могла. Лечить-лечить, чтоб у живого человека кусок легкого отрезать?! Уж пускай бы сразу, если без операции нельзя...

Между тем страсти вокруг распределения отшумели. Жаждающие романтики отправились в Сибирь, а Феликс остался на кафедре геологоразведки, чему безмерно радовались мать с отцом и руководитель дипломной работы. Феликс ушел с головой в специальную литературу — не столько по геологоразведке, сколько по легочной хирургии.

Он изводил врачей вопросами об анализах и летел домой с головой, распухшей от цифр. Цифры были тревожными, новые слова — непонятными и зловещими. Какие-то лейкоциты (белые кровяные тельца, как объяснила врач), призванные Диночку защищать, вдруг ополчились против нее. Феликс ненавидел эти тщедушные и немощные тельца — казалось, ему, здоровому и сильному, ничего не стоит остановить их рост, однако лейкоциты росли и, хуже того, оседали... где?! Где-то в Диночкином теле, продолжая вредить и разрушать. Он тайком утащил у матери медицинский справочник и листал его в троллейбусе по пути в больницу. Там он присаживался к Дине на кровать и брал ее за руку, пытаясь осмыслить прочитанное. Говорил же о своей диссертации, которую задумал написать побыстрее, до Динкиной операции.

Не такой уж фантастический план — свои возможности Феликс знал, однако вмешалось новое обстоятельство: деньги. Зарплата с трудом покрывала самое насущное, а самым насущным были цветы и ранние фрукты, которые на рынке стоили дороже цветов. Брат у родителей не мог.

Оставалось грузить ящики в соседней столовой. Иногда в них были даже апельсины, которые никогда не доходили до меню — Лариска-буфетчица зорко следила за этим. Узнав про жену в больнице, стала заворачивать кулек из грубой бумаги, скрывающий экзотические плоды, но не аромат. На деньги смеялась: «Что ты мне свои рваные сушишь, студент?» — и не брала.

Лаборантка-заочница просила помочь с контрольной работой. Взялся с энтузиазмом и набрел на синектуру — стал делать эти контрольные для заочников из других вузов. Столовую все же не бросил из-за дефицитных живых витаминов.

Наступил страшный спасительный день операции — и миновал благополучно. Хирург объяснил: прооперированное легкое надежно прошито танталовыми скрепками, а это означало, что после восстановления Дина вернется к полноценной жизни, так и сказал.

А что такое «полноценная жизнь»? Как сытый не разумеет голодного, так и здоровый больного. Какая может быть полноценная жизнь под пожизненную диктовку врачей? Дининой судьбой теперь распоряжался противотуберкулезный диспансер. Он отправлял Диночку в Крым и на Кавказ, всякий раз на двойной срок; он же определял режим и питание, что сказалось на ней благотворно. Дине даже разрешили работать — без перегрузок — и, кстати, посоветовали сменить ленинградский климат на более подходящий.

Феликс растерялся. Уехать из Питера, совсем? Но... как? И куда?

Тесть его как раз хорошо представлял, куда и, главное, как: Гуревич, уехавший после ленинградского процесса, обещал прислать вызов. И воздух сухой, не хуже Крыма. «Текстильщики везде нужны, — страстно убеждал Палей, —

и геологии вашей там хватит на всех». С последним тезисом нельзя было не согласиться: геологии на земле хватало.

«Камвольный комбинат» с его внезапной идеей застал врасплох родителей Феликса, но тут обнаружилось, что невестка беременна. В таком состоянии резкие перемены Дине были противопоказаны, и Заенчковские с облегчением передохнули — неведомого инициативного Гуревича можно было выкинуть из головы.

Вот это и называется «из огня да в полымя», думала мать Феликса. Больше всего боялась она, что этот заморыш в куцей юбчонке когда-нибудь станет матерью; боялась давно, с самого ЗАГСа, когда еще не знали о палочке Коха. Сейчас бойся не бойся — в период ремиссии рожать никто не запретит, да и Дина больше не была похожа на заморыша, вот ведь эффект устоявшегося стереотипа! Не то чтобы гадкий утенок оборотился лебедушкой, но Дина выглядела поздоровевшей и свежей молодой женщиной, чему способствовала забытая, к счастью, привычка кусать палец. И какая-то новая независимая уверенность в ней появилась — оттого, должно быть, что не каждый день Феликс вел ее за руку, пока в санаториях набиралась здоровья и румянца. Так что, если выбирать между расставанием с сыном или встречей с будущим внуком, Аглая безусловно предпочитала второй вариант.

Если Яков Палей огорчился, то никак этого не выдал. Родит ему Динка внука, а потом и Гуревича побеспокоим, если все сложится.

Феликс обрадовался, что никуда не надо переезжать — пока, во всяком случае. Тем более что диссертация зависла в странном состоянии: была почти закончена вот уже почти год. Отчего так получалось, думать было некогда: выспаться бы...

К своему трудоустройству Дина отнеслась очень серьезно, несмотря на то что все твердили: не время. Диночка же тревожилась о рабочем стаже, о коем знала теоретически, зато про декретный отпуск девочки в санатории предупредили. Работать хотела не абы где, а только по специальности. На счастье, у Заенчковского-старшего нашлось знакомство на гидрометеостанции, благодаря чему невестка пробыла метеорологом почти полгода, и в конце каждого рабочего дня к метеостанции подбегал запыхавшийся Феликс. Он встречал жену, брал за руку и вел на остановку. Ленинградская погода, хоть ею теперь ведала Дина, частенько портилась, и стоило подуть прохладному ветру, как Феликс открывал портфель и вытаскивал Динину кофточку: «Надень». Метеорологические сотрудники посмеивались, дамы завидовали.

Через полгода метеоролог Дина Заенчковская ушла в декрет и в положенное время родила девочку. Совершенно благополучно родила, потому что «никто еще от этого не помер», как уверяла Диночкину маму благодушная акушерка. Доктор Заенчковская могла бы оспорить это мнение, но промолчала.

Золотоволосая и сероглазая дочка получилась копией Феликса, словно Дина не имела к ней никакого отношения. Молодая мать очень похорошела после родов. Она не кормила грудью, но молочная кухня исправно поставляла бутылочки со смесью, которую девочка покладисто и быстро поглощала — и так же быстро покрывалась сыпью диатеза. Феликс добывал импортные порошки всеми правдами и неправдами — судя по цене, скорее неправдами.

Про незаконченную диссертацию Феликс старался не думать; успеется. Главное, что диатез отступил. Юлька была на удивление спокойным ребенком: она терпеливо

кряхтела в ожидании, когда ей сменят мокрые пеленки, потом истово сосала заграничное молоко, пока серые глаза не заволакивало дремой. Всю ночь она спала спокойно, как и Дина, свято соблюдавшая режим девятичасового ночного сна.

Феликс осторожно двигался по квартире, собирая разбросанные вещи, развешивая выстиранные подгузники и пеленки. О том, что где-то в мире существуют одноразовые подгузники, он не подозревал, а мыл посуду, начиная с молочных бутылочек. Одна лежала на письменном столе, прочно приклеившись к разложенным страницам.

Он даже не огорчился — обрадовался: бутылочка помогла принять решение. Ничего не сказав ни жене, ни родителям, Феликс оставил университет. Он ушел в какую-то проектную организацию, которую про себя неуважительно называл «конторой», где стал работать сдельно. Получал конкретное задание, набрасывал план, чертил схемы; в конце месяца заполнял наряд и передавал в бухгалтерию. Домой теперь приходил с тубусом, где покоились свернутые чертежи; в портфеле носил справочники по гидротехническим сооружениям. За письменным столом поселился толстый рулон миллиметровки. Когда рулон худел, Феликс приносил с работы новый. Деньги тоже приносил другие — в смысле, те же, советские, деньги, только больше.

На той миллиметровке дочка сделала первый рисунок, изобразив амебу с длинными зелеными щупальцами, но уверяла, что это мама. Спасибо бутылочке — решение было принято верное. Денег почти хватало на жизнь. Теща вышла на пенсию, помогала с Юлькой и по хозяйству. Диночка вышла на работу, «а то ведь я не расту профессионально». Феликс опять стал носить в портфеле кофточку, встречал жену после работы.

- Счастливая... — вздохнула сотрудница, глядя в окно.
— Нет — счастливый, — загадочно поправила другая.

Возводились новые гидротехнические сооружения — и ремонтировались старые, так что Феликс работал по совместительству в двух «конторах». Дочка пошла в первый класс. Недописанная диссертация быльем не поросла, разве что покрылась пылью, хоть и лежала в нижнем ящике письменного стола. «Успею, — заверял родителей Феликс, — времени достаточно». Тем не менее времени постоянно не хватало. Нерадивые студенты не переводились, и по ночам Феликс делал для них — вернее, за них — контрольные работы; зато не переводились и свежие фрукты, живые витамины, необходимые теперь уже двоим: Дине и дочке. Буфетчица Лариска давно не называла его «студентом»; она просто заворачивала в грубые кульки дефицит, хотя Феликс давно не разгружал ящики.

— Все болеет? — спрашивала Лариска с боязливым любопытством здорового человека. — Ты заходи давай.

Диночка не болела, нет; а все же Феликс со страхом ждал очередной проверки — жену периодически вызывали в тубдиспансер, и Феликс шел с нею, крепко держа за руку.

Юлька превратилась в очаровательного подростка. Звонили мальчики, один даже из девятого класса! Отец Феликса перенес инфаркт, а его сват, «камвольный комбинат», — не перенес. Далекий Гуревич об этом не узнал, потому что умер еще раньше. Феликс уже не взбегал на четвертый этаж, а поднимался размеренным шагом. Его золотистые волосы потеряли пышность и потускнели от седины; парикмахеры давно не предлагали «проредить» их — об этом позаботилась природа. Та же природа теперь одарила Диночку женственностью, которой ей так не доставало в юно-

сти: плавными движениями, неторопливой походкой и — откуда что взялось? — свежей кожей. Никто не распознал бы задохлика и бледную немочь в этой цветущей женщине, которая выглядела намного моложе своих сорока с небольшим лет. На работе к ней по-прежнему относились бережно, не перегружали, зато дали старшего инженера, вот вам и профессиональный рост.

И все было замечательно, пока Феликс не вытащил из почтового ящика желтенькую открытку из диспансера. Открытка почему-то была адресована ему.

Дининого фтизиатра он знал со времени той первой злосчастной флюорографии. За прошедшие годы докторша погрузнела, поседела, но продолжала работать.

Он приготовился к самому плохому, отчего забыл поздороваться; уходя, не попрощался, если не считать бессмысленной, счастливой улыбки. По пути домой снова и снова проигрывал в голове слова врача. Полное выздоровление. Танталовые скрепки надежно держат исцеленное легкое. Функциональная компенсация. Нормальный режим. Перестаньте нянчить жену.

Весна кончалась торжественным днем: Юленька окончила школу. Все разглядывали новенький аттестат и забрасывали девочку вопросами и советами, куда поступать; а в том, что это произойдет, ни у кого сомнений не было, с ее-то оценками!

Юлька радостно выдохнула, что выходит замуж, и предъявила жениха, насуспенного от робости и лопоухого, как Чебурашка. Замуж? Прямо со школьной скамьи, без образования? Ну почему же — будем подавать на физмат. Лопоухий кивнул.

И настал один из ясных, светящихся дней осени. Феликс выдвинул ящик письменного стола, когда-то назна-

ченный склепом для недописанной работы, и вынул рукопись. У ног его стоял раскрытый портфель.

— Дина, — голос Феликса был спокойным, как всегда, — я уйду.

Жена снимала бигуди, и поднятые руки на несколько мгновений замерли.

— Зайди в гастроном на обратном пути, — напомнила Дина.

Феликс поднял глаза на жену. Свежее бело-розовое лицо, веки чуть припухли от сна, русая прядка спускалась на шею перевернутым вопросительным знаком. Он улыбнулся и покачал головой.

Может быть, Дина не могла отличить гранит от граната, как некогда шутили однокурсники, но мужа своего она знала. Подойдя близко, со всей силой пнула портфель. Оттуда выскользнула Динина кофточка и вывалилась, зацепившись корешком, толстая техническая книга. Посыпались исписанные страницы.

— Ты!.. Ты голый и босый уйдешь отсюда, — сдавленным голосом, захлебываясь, проговорила Дина, — голый и босый!.. Тут ничего... Тут нет ничего твоего!

Она расшвыривала ногами листы, яростно топтала их вышитыми атласными тапочками.

Феликс поднял с полу книгу, отряхнул. Сгреб рассыпанные страницы, сунул в портфель; кофточку положил на стул. И пошел к двери.

— Ты... куда? — настороженно спросила Дина.

Муж обернулся.

— Жить.

ЁЛКА

— Куда на этот раз? — спросила Люба.

Спросила — и чуть не пожалела. Мать была археологом и начала увлеченно рассказывать о скифском захоронении, найденном недавно где-то в Куйбышевской области.

Стелла выделялась среди других женщин не только джинсами, смелыми короткими юбками, босоножками на пробковой платформе и ярким педикором, не только редкой специальностью, но чем-то еще, что создавало вокруг нее беспокойную, тревожную атмосферу. Мужчины, как флюгеры, поворачивались в ее сторону, выхватывали зажигалки, приосанивались; женщины напрягались. Она не молодилась — ей удавалось как-то оставаться молодой. «Запомни, ничто так не старит женщину, как стремление выглядеть молодо», — говорила она дочери.

Люба незаметно сдвинула рукав, чтобы видеть часы. Никакого сходства между матерью и дочерью не было. Самым примечательным в Любиной внешности были очки, дорогие «хамелеоны» в модной оправе, слишком громоздкой для серьезного курносого личика.

Мать была полной ее противоположностью. Худое лицо, темно-карие живые глаза, крупный улыбающийся рот без помады, модная короткая стрижка — в русых волосах чуть поблескивала седина. Стелла уверовала в народную мудрость про сорок пять и ягодку опять и, черт возьми, оставалась-таки ягодкой, судя по тому, как дружно мужчины при ней втягивали животы. С мужем они часто ссорились — Виктор не выдерживал частых Стеллиных экспедиций. Несмотря на то что ему льстило внимание к элегантной и обаятельной жене, в ее отсутствие воображение разыгрывалось, и тогда все, что в ней любил, обращивалось против нее. «Кто не ревнует, тот не любит», — резюмировал он и хлопнул дверью в один из вечеров. Переночует у приятеля, заспит свою дурь и вернется, решила Стелла.

Виктор провел ночь у соседки, на которой веснушек было больше, чем кожи, и вернулся. Жена встретила его фразой: «Теперь ты просто обязан жениться». В накаленном молчании муж побросал в сумку рубашки, немного белья и в этот раз дверью не хлопал — аккуратно прикрыл. Ушел, однако, вовсе не к соседке, как была уверена Стелла, а на работу, но вечером домой не вернулся, а поехал на дачу к приятелю, который дал ключ на неопределенное время и на столь же неопределенных условиях.

Если бы не очередная экспедиция, из-за которой, собственно, и вспылал муж, Стелла, чего доброго, подала бы на развод, и жизнь надолго превратилась бы в ад, однако время поджимало. В экспедиции нашлось время подумать, остыть; еще немного — заскучала бы без него, как это всегда происходило в поездках. Однако в этот раз, как только начинала мысленно с ним разговаривать, обида вскипала бурным ключом. Измена — такого никогда не

было. Развод, только развод. Пусть катится к своей конопатой кобыле.

Вернувшись, обрадовалась: он был дома. Нахмурилась, и легко получилось — злость, досада на самое себя за эту радость очень помогли. Виктор вышел, улыбаясь, и она видела, как улыбка пропала, лицо сразу постарело.

Приходил, ждал каких-то слов; исчезал снова. «Разлучницы» видно не было — по крайней мере, Стелле не встречалась. Новые, чужие люди шумно въезжали, стучали на лестнице — как оказалось, именно в квартиру «конопатой кобылы». Виктор часто заглядывал домой — выпить кофе, взять что-то из книг; иногда ночевал на диване, не раскладывая. Говорили мало — только о работе, внучках; было видно, что уходить не хотел. Так и жить?.. Прежней ожесточенности в душе не было, но обида поселилась прочно.

Один раз только в разговоре с дочерью Стелла коснулась этой темы: «Если б Софи Лорен, я бы поняла, но эта курочка Ряба...» Сколько Люба ни пыталась представить блестящую Софи Лорен рядом с отцом — лысоватым, в любимой вязаной жилетке, — у нее ничего не получалось. Мало-помалу она усомнилась в правоте матери: не все ли равно, кто? — важно, что этот «кто-то» существовал.

Однако нужно было что-то делать. Эти взрослые... Люба вздохнула, поправив очки. Когда маленькие дочери сосорились и прибегали по очереди на кухню, она терпеливо выслушивала сначала одну, потом другую и говорила каждой: «Сестричка не права, но ты постарайся быть взрослой и помирись первая». Как ни странно, иезуитский способ помогал. Обе, пузырясь от собственного великодушия, сладко мирились.

И теперь, в ожидании Нового года, требовалось что-то подобное проделать с родителями. Чутье подсказывало, что

с отцом будет проще, что он сам ждет, когда этот... что, конфликт, кризис? — разрешится.

С матерью после скифских раскопок Люба виделась редко. И в конце дня решила зайти — посидеть на кухне, выкурить сигаретку (ну, две), поболтать. Уже поднявшись наверх, пожалела, что не позвонила заранее: вдруг ее нет дома?

И словно накаркала: не было. Надавила кнопку еще два раза и медленно пошла по лестнице вниз. У парадного остановилась, натягивая перчатки и бездумно глядя, как в дверном проеме ровно падали снежинки.

В свете уличного фонаря на противоположном тротуаре показалась мать. Она выглядела необыкновенно эффектно в короткой дубленке и берете, лихо надвинутом на ухо. Но главное было не в дубленке и даже не в модных сапогах — Стелла была не одна. Под руку ее держал мужчина и что-то говорил, а она недоверчиво покачивала головой и улыбалась.

Улизнуть бы, повернуть за угол или нырнуть в магазин, однако зоркая Стелла взмахнула рукой:

— Мы идем!

Вот оно что. *Мы.*

— Знакомьтесь: Люба, моя дочь. А это Виталик.

— Виталий, — улыбнулся тот, приветливо кивнув.

Глаза у матери радостно блестели. О, черт; *Виталик*. Детский сад какой-то. Надо было немедленно сплнить, однако подходящий предлог никак не сочинялся, а мать уже схватила ее за руку и тащила наверх.

«Виталик» ловко перехватил у Любы пальто.

На плите стоял чайник, в то время как Стелла что-то доставала из холодильника.

— Не мечи, лучше сделай кофейку, — спокойно заметил гость. Достал сигареты, протянул пачку Любе. Догад-

ливый *Виталик*. Уверенно потянулся и снял с подоконника пепельницу, словно делал это не раз и не два. Потом сел и улыбнулся так обезоруживающе, что не улыбнуться в ответ было невозможно. На вид ему было от силы лет сорок, и то благодаря короткой густой бородке и небольшим залысынам на лбу. Сам тощий и смуглый, точно обугленный; темные глаза, одна бровь рассечена и переломлена свежим шрамом, тянувшимся к виску. «Уголовник какой-то», — опасно подумала Люба.

— Ты что-то говорил? — Стелла хлопнула холодильник и принялась расставлять на столе банки и миски.

— Говорю: не мечи на стол, мы договаривались о кофе. «Уголовнику» решительно отказался от еды, докурил сигарету, отодвинул пустую чашку и поднялся:

— Спасибо; мне пора.

Стелла запротестовала, но *Виталик* уже натягивал куртку; через минуту хлопнула входная дверь.

— Мам, где ты его откопала? — не выдержала Люба.

— Ты что, куришь? — рассеянно ответила мать и потянулась за сигаретой. Посмотрела на дочь, потом на темное окно и кивнула: — Откопала, представь себе.

И рассказала.

Экспедиция — короткая, последняя — складывалась неудачно. С самого начала пропали двое рабочих: получили аванс, и больше их никто не видел. За лопаты взялись все, в том числе студентка-практикантка, которая на третий день подвернула ногу — спасибо, что не сломала. Зато сломался экскаватор, с таким трудом раздобытый на время экспедиции. К счастью, случилось это позже, когда раскоп уже подготовили и укрепили.

— К тому же полил дождь — как раз, когда мы наткнулись на новый пласт, по всем признакам самый старый.

У него, — Стелла кивнула на дверь, словно там все еще стоял Виталий, — аж руки задрожали: ранний железный век, зуб даю!..

Мать замолчала.

— Ну? — не выдержала Люба.

— Ничего мы не увидели. В дождь какая уж работа — сидели в палатках. Я же говорю: ливень, хляби небесные, как в «Макбете». Люди обувь сушат, а этот, — мать снова кивнула на дверь, — опять полез в раскоп. Один! Как будто новый слой — шестой век до нашей эры, по некоторым признакам, — исчезнет за день-другой.

Люба слушала и внимательно смотрела на мать. Что-то изменилось, и она не сразу поняла, что именно, пока не заметила след от помады на дымящейся сигарете. Губы красит; ай да Виталик. От помады лицо стало более отчетливым, словно отретушированным, но не только это: русые Стеллины волосы сделались откровенно каштановыми, и сединки больше не просверкивали. Все это, вкупе с угловатым Виталиком, затрудняло Любину задачу.

...Что-то подтолкнуло Стеллу, заставило натянуть непросохшие сапоги, мокрую куртку с капюшоном и пойти к раскопу. Где под дождем и увидела воткнутую в земляной холм лопату, которая вдруг стала валиться на бок и пропала. Следом исчез и холм, словно провалился. Нет, не «словно», а провалился в буквальном смысле, что могло означать только одно.

Потом установили причину аварии: рухнула опора, сломался блок, и мокрая, тяжелая земля, ничем не сдерживаемая, устремилась вниз — туда, где был Виталий.

Для откопанного из обвала он легко отделался — тремя сломанными ребрами и глубокой раной на голове. Ребра постепенно зажили сами по себе; от раны на виске остался

ровный шов, а в душе горькое разочарование, потому что при наркозе у Виталия разжался кулак и что-то выпало — «гадость ржавная, Господи прости», поджала губы добросовестная старушка-санитарка. «Гадость» она тут же и выкинула, не увидев никакой ценности в находке, которая относилась именно к найденному слою — тому самому, железного века. После наркоза Виталий тщетно шарил руками по простыне. Увидев это, старая санитарка оставила швабру и перекрестилась. «Обирается, — сердобольно пояснила лежащему в углу старику. — Молодой совсем», — и сложила руки на груди.

Со стуком упала отброшенная швабра, и санитарка, попятившись, опять перекрестилась, уже от испуга, при виде метнувшейся к койке бабы.

— Виталик!..

Старик отвел глаза от чужого горя. Медленно, чтобы не тревожить боль, повернулся на спину. Дамочка модная, как все теперешние, а каково будет остаться без мужика? За ним и здоровым-то глаз да глаз нужен, не то аккурат уведут, будь хоть какая модная; а теперь вишь как обернулось. Прикрыл глаза серыми морщинистыми веками и лежал неподвижно.

Санитарка тоже не двигалась, но и глаз отвести от бабы не могла. Муж-покойник, бывалоча, как выпьет, так петь налаживался самую жалостную: «Жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда». Вот и тут: парень — соплей перешибешь, однако ж нализался да в яму хлопнулся, а матка теперь убивайся. Видала б она, как он одежду изгваздал, по канавам да по ямам валявшись. Культу-у-урные... Нагнулась, подняла с полу швабру и пошла к двери, раздосадованная донельзя.

Ни о чем этом Стелла дочери не рассказывала — не до того было, чтобы по сторонам смотреть. Все же каким-то

образом остались в памяти, словно на моментальном снимке, прикрытые глаза старика, потеки на окне и пожилая санитарка со сложенными на груди руками. От громкого бряка упавшей швабры Стелла вздрогнула, хотя не прозвонил колокол, не пробили часы на башне — не было в поселке ни того ни другого. Да только можно ли знать, как судьба напомнит о себе — пятой симфонией Бетховена, звоном разбитого стакана или веткой, хрустнувшей под ногой? Сколь бы обыденным ни был звук, он обретает грозную неотвратимость бетховенских аккордов. И пусть из радиоприемника несется «Музыкальная панорама “Маяка”», воздух напоит едкой хлоркой, судьба — вот она, на койке под самым окном, это Стелла поняла так отчетливо, словно ее формула была написана на стене.

Чувствовал ли Виталий что-то, кроме боли? Приоткрыл один глаз (другой был закрыт повязкой) и встретил взгляд Стеллы — взгляд, полный смятения и тревоги. Шевельнулись сухие, в корочке, губы, он хрипло выговорил, осторожно переводя дыхание — болела грудь: «Я в руке держал, а теперь... пропала. Похоже, рукоятка меча. Спросите там», — и махнул рукой в сторону, не подозревая, что нахodka останется с ним навсегда шрамом на виске.

«Господи, спаси его, спаси и сохрани», — мысленно произнесла Стелла непривычное, потому как никакого «господа» в ее жизни сроду не водилось, да и с чего бы? «Спаси его, — повторила требовательно, — дальше я сама. Ты только спаси!»

Говоря с врачом, убедилась, что ее заклинание помогло. Спасут — не один, так другой; для Стеллы исполнитель не имел значения. Вопросы задавала напористо, врач послушно отвечал и вдруг спохватился:

— Вы, собственно, кто ему будете?

— В данный момент я *есть* начальник экспедиции, — веско ответила Стелла, — и потому несу ответственность за каждого участника.

А кем я ему буду, время покажет, закончила мысленно. Или... покажет кукиш.

Кивнув, доктор объяснил, что состояние больного «средней тяжести», опасности для жизни нет. «Молодой, крепкий, — добавил врач, — у него все еще впереди».

У него, горько отметила Стелла. А я — кто я ему буду, и буду ли?..

Стала.

Все произошло так, словно никак иначе свершиться не могло. Позвонил в дверь — уже без повязки, только шрам на виске был заклеен пластырем. «От меня больницей разит. Я не был дома». За окном темнел ноябрь; ветер свирепо гонял листья по сухому тротуару, только какое Стелле дело до него — Виталик был рядом, ее Виталик: жаркий, шалый, глаза сумасшедшие. Взрослое имя *Виталий* было ему велико, не подходило; про себя звала: Мальчуган.

Он приходил всегда внезапно, коротко предупредив по телефону. Радость — мука — смерч по имени Мальчуган. Однажды, проведив его, села на табурет в прихожей и схватилась руками за голову: старая дура, что я делаю?! Во что ввязалась, и... как я без него проживу?! То, что предстоит «без него», для Стеллы не оставляло сомнений.

Ничего подобного со Стеллой раньше не происходило. Наваждение, безумие; *солнечный удар*, случившийся темной дождливой ночью. Никому о таком не расскажешь. Подруг-наперсниц у Стеллы не было — оттого, наверное, что в избытке водились друзья: одноклассники, однокурсники, сотрудники.

Муж угадал или почувствовал что-то — стал бывать редко, предварительно звонил; вопросов не задавал.

Стелла непроизвольно покосилась на телефон: Мальчуган молчит четыре дня, они не виделись полторы недели. Жил он, как сам объяснял, «на птичьих правах» у дальней родни, без телефона. «С женой мы разошлись», — упредил незаданный вопрос.

...Однако расслаживаться некогда — пора было ехать в управление. Выяснить, подписаны ли бумаги, и... вдрут он там, мало ли?..

Посмотрев на часы, привычно быстро собралась: легко коснулась пудрой лица и смахнула лишнюю, чуть подкрасила губы. Черт, к помаде быстро привыкаешь, теперь уже странно представить, как это — выйти с ненакрашенными губами; словно в халате. Нахмурилась в зеркало, потом улыбнулась. Морщинки появились и пропали — мимические, ничего страшного. Синяков под глазами никогда не замечала — недосып, не иначе; про «иначе» думать ох как не хотелось. Модные черные брюки, жемчужного цвета джемпер, сизый мохеровый шарф и пальто, конечно: в дубленке сварисься.

Пока добралась, редкий снежок начал густеть, повалил уверенно, поднялся ветер.

В управлении Стелла зашла в туалет подкрасить ресницы. Из-за стены, где обычно собирались курильщики, слышался оживленный разговор.

— ...Все же не девочка, — укоризненно пенял женский голос, — должна соображать.

— Да уж, — согласился другой, тоже женский, — говорят, там бурный роман, а дома жена и семеро по лавкам.

Кому-то кости моют, равнодушно подумала Стелла, приступая ко второму глазу. Голоса вроде незнакомые.

— Я тебя умоляю, — первая заговорила громче, и Стелла насторожилась — у кого-то она слышала эту развязную фразу, — я тебя умоляю, бабе полтинник, у нее внуки!.. А туда же, хвостом вертеть. Он же, по сравнению...

— Тише; мало ли...

Женщины заговорили тише. Лампочка в туалете была тусклая — экономика должна быть экономной, — поэтому Стелла вплотную придвинулась к зеркалу.

— Кто, жена? — голос опять зазвучал громче.

— Я тебя умоляю, — в ответе слышалось раздражение, — кто еще, папа римский? Жена, конечно. Заявилась прямо к парторгу: воздействуйте, мол, помогите: семья рушится...

Комочек туши бесшумно скатился в раковину. Рука замерла.

— ...с Урала, кажется. Ну, и решил делать карьеру по всем фронтам.

— В каком смысле?

Та, которая умоляла, понизила голос. Теперь доносились отдельные слова, обрывки фраз, но Стелла больше не вслушивалась. Руки почему-то дрожали, чушь какая. Она поправила волосы, яростно откинула крючок и пошла по коридору, не оборачиваясь.

Секретарша директора — кримпленовый костюм, парикмахерские завитки, духи «Серебристый ландыш» — то и дело прижимала к носу платок:

— И где я подхватила?

— Шли бы домой, — посочувствовала Стелла.

— Досижу — всего ничего осталось; а дома ноги с горчицей...

Прервав мечтания, Стелла кивнула на закрытую дверь:

— У себя?

Та помотала головой.

— У парторга.

— Это надолго, не знаете?

— Как получится, — последовал непонятный ответ.

— Люсенька, — стараясь не накаляться и ненавидя себя за просительные интонации, продолжала Стелла, — как там с нашей сметой, он подписал?

— Я не в курсе, Стелла Константиновна, — Люсенька застенчиво высморкалась, — вы лучше сами...

«Две недели тянется эта бодяга, — с досадой думала Стелла, — сколько можно? Ты, клуша, должна была передать мою заявку на подпись и не передала». Сидеть с простуженной Люсей было бессмысленно, и Стелла вышла. Хлопали двери. Несколько человек ждали лифт. Встречая знакомых, Стелла приветливо улыбалась, иногда обмениваясь короткими фразами. Тайная надежда случайно встретить Виталия ни на чем не основывалась — нечего ему делать в управлении, он обычно торчит в лаборатории. Заглянуть в библиотеку?.. На двери была приклеена бумажка: «Санитарный день».

Доска объявлений на первом этаже была облеплена сотрудниками, проходившие замедляли шаг. «Елка скоро, надо бы девочкам пригласительные взять», — подумала Стелла, но не остановилась — прошла в гардероб. Надела пальто и стояла у зеркала, повязывая шарф. Достала помаду, боковым зрением заметив надвигающуюся сзади красную фигуру.

Фигура принадлежала плотной коренастой брюнетке. Стелла посторонилась, чтобы пропустить женщину, но та никуда проходить не спешила, а встала за ее спиной и внимательно рассматривала ее в зеркале. «Не баба — пожар, — Стелла закрыла патрончик с помадой. — Никто не объяснил бедолаге, что нельзя носить оранжевый с крас-

ным». Она нечаянно встретила с «бедолагой» взглядом — и чуть не отшатнулась от яростно полыхающей ненависти в прищуренных глазах.

— Есть такие... — медленно и громко заговорила брюнетка, — такие, что им своего мужа... не хватает. Им чужого подавай...

— Нина, пойдем! Не надо, Нина!

Ее дергала за локоть, пытаясь увести, девушка в модной вязаной шапочке. Брюнетка выдернула локоть:

— ...потому что чужой для таких, как эта...

Стелла попятилась. Кто-то встал между нею и пожарной брюнеткой. Входная дверь открывалась, люди сновали по коридору, некоторые замедляли шаг.

— Нет, я скажу ей! — бесновалась женщина.

И другой, твердый и авторитетный, властно перебил:

— Успокойтесь, товарищ Каляева. Возьмите себя в руки. Воды принесите кто-нибудь, стакан воды!

...На сырой скамейке парка сидела женщина, глядя прямо перед собой, хотя смотреть было решительно не на что: сквозь снег проглядывала грязная рыжая осенняя трава, похожая на шерсть мертвой собаки. На бледном лице женщины ярко и мертво горела помада.

Как она оказалась в парке, Стелла не знала. Просто на остановке стояли люди, подъехал автобус, и она вошла вместе со всеми. Когда автобус почти опустел, вышла. Знобило. Вдруг она вспомнила: вода, стакан воды. Кого-то просили принести воду. Хорошо бы: мучительно захотелось обыкновенной воды, пусть даже тепловатой, терпения не хватало ждать. Она протянула руку и взяла щепоть снега с озябшего куста, потом еще... Снег не утолял жажду, челюсти свело холодом.

Отвратительно мертвая трава. Куда, кстати, она девается, когда вырастает новая — яркая, умилительно юная? Куда девается старая? Сухие листья осенью сжигают. Пламя, костры. Красное с оранжевым, один цвет убивает другой, огонь пожирает листья.

Холод от стылой скамейки проник глубоко внутрь. Она встала на занемевшие ноги, но двинуться смогла не сразу. Тело не слушалось, и когда схватилась за спинку скамейки голой рукой, от озноба застучали зубы. Перчатка валялась на земле — уронила, когда хватала снег с куста.

У тротуара притормозил светлый «Москвич», водитель приоткрыл окно: «Вам куда?» Легкая раскосость напомнила знакомое лицо. Стелла помотала головой. От этого простого движения в затылке кольнула боль. Надо было взять этого частника, не надеяться на такси, потому что я не дойду, равнодушно подумала она. Грохнись на грязный снег. Озноб сменился волной жара. Что, страшно? А в раскоп лезть не страшно было? — Нет. И не потому полезла, что он провалился, — любого бы вытащила; не потому.

По противоположной стороне улицы мужчина нес елку. Совсем скоро Новый год. На перекрестке стояла женщина, тоже с елкой, ветки перевязаны.

Елка, елка, не нуждающаяся в эпитетах! В отличие от ели, которая может оказаться строгой, печальной, мрачной, но становится веселой, превратившись в елку. Пока готовишься к Новому году, покупаешь подарки, тащишь домой и водружаешь елку, в душе крепнет уверенность, что уж этот-то Новый год обязательно будет лучше уходящего и произойдет что-нибудь особенно хорошее. Надежда, живая и стойкая, как вечнозеленое деревце, говорит: все будет хорошо. И никто не думает в эти хлопотливые дни

о порыжевших, осыпавшихся и сваленных в кучу на помойке новогодних красавицах. Так все любят невестой в белопенном платье, с сияющим от счастья лицом из-под фаты, и никто не может представить ее на рассвете холодного вдовьего дня, когда покореженная ревматизмом рука тянется к лампе. Свет падает на неровные жидкие пряди со следами хны. Уродливая ключица выпячивается из ворота мужской рубашки. К тумбочке прислонена палка. В изголовье лежат очки с мутными, захватанными стеклами; нужно протереть их и посмотреть на часы, чтобы встретить... рассвет? Нет — закат. Жизнь проходит быстро, как Новый год, однако язык не поворачивается назвать ее мишурой...

Другая машина замедлила ход, и Стелла не раздумывая села. Затылок продолжал ныть. Перед глазами болтался меховой уродец, висящий перед лобовым стеклом. Стеллу подташнивало, кружилась голова. Снова пробовала вспомнить, как она попала сюда, в этот район, где случилось пару раз побывать в гостях. Ах да, автобус. Она несколько раз оглянулась, и пожилой таксист негромко спросил: «Что-то не так?»

Все не так.

Непрерывно раскачивалась уродливая фигурка. Свет от встречных машин больно резал глаза. Все не так. *У меня нет жены, мы разошлись.* Сам говорил, Стелла не спрашивала. Зачем? Если человек захочет, сам и скажет, и спросит. Он появлялся всегда неожиданно, она не знала, когда его ждать, — и потому ждала все время, каждый день, все два месяца. Встречались и на работе, но там была только работа — он был фанатик, засиживался в лаборатории до темноты.

Думалось в прошедшем времени — так было легче; прошло это время, прошло. Два скоротечных, как чахотка,

месяца. Чахотка и есть, когда каждый вечер мог оказаться последним. Он уже прошел, последний вечер, и только сейчас она поняла, что не запомнила, чем он отличался от остальных. И знал ли Мальчуган, что больше таких вечеров не будет, что красно-оранжевая жена встала на тропу войны?

Правильно сделала пожарная баба, молодец: надо бороться за свое семейное счастье, нечего разбрасываться мужьями — неровен час, всегда найдется какая-нибудь «курочка Ряба»: выслушает, приютит, спасет. А там, глядишь, и уведет.

...Уродец замер, перестал мотаться по стеклу. Машина стояла. Цифры на счетчике расплывались перед глазами.

— Вы что-то сказали?

— Два сорок, — повторил водитель.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТАРУШКА

повесть

1

Отец позвонил Павлу в конце рабочего дня: «Приходите к нам ужинать»; а кто же не думает об ужине в седьмом часу, когда давно забылся обеденный перерыв?

Скоро на кухне засвистел чайник, а чаепитие у Спиваковых растягивалось надолго, да и не хотелось торопиться в ноябрьскую темноту. Хозяин, осанистый пожилой мужчина с выпуклым лбом и твердо очерченной челюстью, сидел за столом по-домашнему, в подтяжках. Галина Сергеевна, его жена, резала кекс. Она принадлежала к числу тех женщин, которые не стараются выглядеть моложе своего возраста потому что жизнь их давно благополучно устоялась, дети и внуки, слава богу, здоровы, а что еще нужно?

У Павла крутой, как у отца, лоб частично был скрыт густыми русыми волосами; легкой скуластостью и темными

глазами он походил на мать. Рядом сидела Валентина, его жена: пухлые губы, рыжеватые волосы до плеч, челка, — и крутила на запястье часики, рассеянно прислушиваясь. Разговор вертелся вокруг какой-то тетки Иннокентия Семеновича.

Павел откусил кусочек кекса.

— М-м, вкусно! Сама пекла, мать?

На губах, как изморозь, появилась нежная белая каемка сахарной пудры. Галина Сергеевна замахала обеими руками:

— Да когда мне печь, в нашей бакалее давали.

— Салфетку возьми, — шепнула Валентина. Сама она кекс не пробовала — худела под новые джинсы.

— Вот мы и подумали с мамой, — Иннокентий Семенович коротко взглянул на жену, — что, как ни крути, а надо что-то делать.

Павел слизывал с пальцев сахарную пудру. Отец снова оседлал своего конька: что-то делать, что-то делать; опять про тетку. Сам Павел никогда ее не видел, только и знал, что живет в Ленинграде, родители тоже когда-то там жили, еще до его появления на свет.

За шесть лет замужней жизни Валентина впервые услышала о ленинградской родственнице. «Типичная петербургская старушка» — охарактеризовал свекор свою тетку, словно придержал тяжелую дверь Эрмитажа и оттуда, мелко семеня, вышла старушка в потертом лицованном пальтеце, с ветхим ридикюлем в руках.

Ну уж и с ридикюлем, одернула себя Валентина, восемьдесят седьмой год на дворе. Джинсы надо примерить с той польской рубашкой в клетку, и чтобы впереди узлом...

— Совсем одинокая, — продолжал Иннокентий Семенович, — вдова. Так и живет.

Это было понятно: ежовщина, десять лет без права переписки, надежда и долгое ожидание, а там и война, блокада...

— В прошлом году мужа схоронила, — Иннокентий Семенович отхлебнул чай.

«Слава богу!» — чуть не вырвалась у Валентины кощунственная фраза, потому что не сумела бы объяснить облегчение от того, что не *тогда*, не *там* и не *так* умер муж неизвестной старушки.

— А дети где?

Спросила, хотя ответ вырисовался так же легко, как лицеванное старушкино пальцецо, в котором та стояла у могилы, где рядом растерянно топтались взрослые сыновья, вызванные накануне из других городов, а теперь разъехавшиеся по домам. Она осталась и сидит подолгу в тишине, нарушаемой только боем старинных часов; сидит и перебирает фотографии, погружаясь в воспоминания о муже. Воспоминания — вот и все, что ей осталось. О будущем, одиноком и безнадежном, лучше не думать. Очки на покрасневших от слез глазах, черное платье с пожелтевшим кружевным воротничком, остывающий чай...

— Налей мне еще чашку, Галя, — попросил Иннокентий Семенович жену и почти без паузы продолжал: — В том-то и дело, что детей у них не было, всю жизнь прожили вдвоем. Были бы дети, я бы не стал вам с Павлом голову морочить.

Встретив удивленный взгляд невестки, кивнул на сына и пояснил:

— Я ему говорил уже. Человек пропадает, в буквальном смысле пропадает, — и потянулся к варенью.

Павел удивленно уставился на отца. Смутно забрезжил какой-то разговор, однако звучало это как «хорошо бы»,

«надо бы», но ничего конкретного; разве что на прошлой неделе туманно намекнул на обмен...

От слов «не было детей» потянуло ледяным сквозняком. Ничего страшной Валентина представить не могла. Счастливая мать двоих пацанов (счастливая, потому что мать, поправила себя), она даже начала было мечтать о дочке, но представить себе еще одного младенца, новый мастит и неделями режущиеся зубки было лучшим лекарством от дерзких грез. Не говоря об аспирантуре, которая требовала времени, а как раз времени-то и не было. К счастью, Владику недавно стукнуло три года, и он пошел в садик, где старший, Ромка, считался ветераном, потому что тянул ляжку уже полтора года. Теперь можно было сосредоточиться по-настоящему, только бы мальчишки не болели...

— Да и вам помощь, особенно тебе, — Иннокентий Семенович отодвинул чашку и посмотрел на невестку.

Муж легонько толкнул ее локтем, и Валентина спохватилась. О чем они?..

Идея была проста: съехаться с одинокой теткой, обменяв ее ленинградскую коммуналку. Конечно, можно часто проводить — до Ленинграда всего-то ночь на поезде или час на самолете, но поди знай, когда ее сосед устроит очередной пьяный дебош и каковы могут оказаться последствия этого дебоша?

— Да я говорил Павлику, — повторил свекор, — если не мы, то кто поможет?

Иннокентий Семенович продолжал говорить негромко и доверительно, так что мало-помалу выношенное лицованное пальцецо облекло восьмидесятидвухлетнюю тетьку Софу, пересекающую шумный Литейный проспект по

пути из магазина к себе домой, на Невский. Ноги ноют от стояния в очереди, в руке авоська с нехитрой снедью: батон, сырок, вялая зелень для супа — много ли нужно теперь, когда дома никто не ждет? После скудной трапезы вымыть посуду, прибрать обе комнаты, и без того опрятные, и — доживать однообразные дни, вздрагивая и съезживаясь в ожидании, когда сосед-пьяница вернется домой.

— А... другие соседи? — Валентина встряхнула головой, чтобы отогнать мрачные картинки. — Неужели никто не вступится, что там за люди?

Всего и было-то соседей, что тот самый пьяница, страстно ждущий момента, когда обе тети-Софины комнаты освободятся.

Галина Сергеевна почти не принимала участия в разговоре, только время от времени вставляла: «Ужасно. Это ужасно» и придвигала то печенье, то кекс: «Берите к чаю».

— Иначе кончится это плохо, — вслух рассуждал Иннокентий Семенович. — Голову топором он ей не проломит, конечно, — усмехнулся, — однако приблизит... естественный конец — и все.

— Ты скажешь, — нахмурилась жена, — не сгущай краски.

Галина Сергеевна никогда ни в чем «не сгущала краски». Самое яркое в ней были старательно покрашенные хной волосы («седина старит»), все же остальное: помада, одежда, голос — было невыразительным, неприметным, словно нарочно подобранным, чтобы не бросаться в глаза.

Кеша — молоток, восхищенно подумала Валентина. Не всякий на такое способен. Поступок с большой буквы.

Иннокентий Семенович и не придавал, казалось, своему решению такого веса — просто говорил о том, что необходимо сделать «в первую голову».

— Квартира хоть и коммунальная, зато на Невском, а это не кот начихал. Две смежные комнаты, высокие потолки. Ваш четвертый этаж без лифта не сахар, конечно, но близко к центру, так что желающие найдутся. Верно я говорю? — Он смотрел прямо на невестку.

Наш... без лифта... Что он несет? Она что-то пропустила. Чертова «Монтана».

— *Наша* квартира?

Иннокентий Семенович озадаченно сдвинул брови:

— Тебе что же, Павел не сказал ничего?

Он критически посмотрел на сына:

— Тебе стричься пора! Ходишь заросший... И вообще о чем ты думаешь? Я же тебе все объяснил!

Теперь все смотрели на Павлика. Тот пожал плечами:

— Папа, я так понял, что это один из вариантов?..

Откровенно говоря, Павел не помнил подробностей. Отец вечно одержим идеями, и самое простое — кивать, потому что угнаться за его идеями невозможно.

— Самый оптимальный! — Иннокентий Семенович откинулся на спинку стула, просунув большие пальцы под подтяжки, очки сползли. — Вы мне еще спасибо скажете.

Валентина переглянулась с мужем. Теперь надо было слушать внимательно, за что предстояло сказать спасибо, и голова пошла кругом. Свекор не оговорился. Сценарий, по которому он собирался претворить в жизнь свою идею, заключался в том, чтобы обменять тети-Софину жилплощадь (Невский, высокие потолки) плюс квартиру, где жили сын с невесткой и детьми, на одну просторную четырехкомнатную квартиру.

— Если не больше, — значительно добавил Иннокентий Семенович. — Одни люди разъезжаются, другие — наоборот; я поспрашивал.

Встретив взгляд Валентины, обнадеживающе улыбнулся.

— Ты сможешь нормально работать дома, не говоря про институт или библиотеку, чтобы дети под ногами не путались. Она хоть и старая, а крепкая — и прибрать сможет, и стоговить, и с детьми посидеть. А то вы уж забыли небось, когда в кино ходили вместе.

В соседней комнате, где играли мальчики, что-то упало с громким стуком, и сразу стало очень тихо. Валентина вскочила, но свекровь опередила: «Сиди-сиди, я сама». Вскоре и появилась, ведя за руки внуков. Оба были перемазаны землей. «Это не я!» — «Ты первый начал!» — «Он сам упал, я не трогал...» Валентина взялась за щетку и совок, Павел стрел сыновей и повел умываться. Потом была бестолковая суета вокруг разбитого горшка, свекровь топталась рядом: «Не надо, не надо, я сама». Комки земли были разбросаны по полу и попали на письменный стол, надо было стряхивать их осторожно, но эта возня как-то заслонила на время тесные джинсы за 80 рублей и съездившуюся фигуру старушки, терпеливо ждущей решения своей участи. Невский проспект, рядом с Литейным, высокие потолки. Вовремя расколотили мальчишки этот горшок, потому что тетя Софа, Валентина знала, вернется снова, и встретиться с ней взглядом она боялась.

2

Валентина мучилась. Накануне мерила джинсы еще несколько раз и совсем отчаялась. Рубашка в тоненькую клетку, элегантно завязанная на животе, не помогла. Стаскивая джинсы в очередной раз, зацепила молнией единственные колготки. Колготкам хана, чертову «монтану» надо возвращать. Или посоветоваться с матерью?

После работы поехала к родителям. Сразу выложила матери про загубленные колготки, 80 рублей, которые надо кровь из носу отдать завтра, и что делать с джинсами, когда фигура ни к черту.

— Надень, — коротко сказала Марина.

Потом отошла в сторону и чуть прищурилась.

— Фигура как фигура, чем ты недовольна? Джинсы... Ну-ка подойди поближе, что это они, как из фанеры? Сесть можешь? А теперь встань. Это не твой размер. Отдай и не мучайся — считай, что 80 рублей сэкономила. А впрочем... Дай-ка я померю, — и быстро скинула халатик.

На матери джинсы сидели как влитые, но Марина показала головой:

— Нет, совсем деревянные; да после стирки сядут.

И стало легче, как всегда бывает от принятого решения.

Складывая джинсы в пакет, она рассказала матери про «Кешину идею». Марина всплеснула руками: «И вы согласились?!» Чуть было не кинулась звонить Иннокентию («я буду дипломатична»), но решила вначале поговорить с Галей: «Она ведь разумный человек, хоть и манная каша». Не позвонила. Рассеянно сунула Валентине сверток: «Примерь: я купила блузку, мне тесновата», после чего сделала то, что всегда делала в затруднительных случаях: начала варить кофе.

За столом на кухне Марина закурила и даже не возмутилась, когда Валентина тоже взяла сигарету: то ли думала о другом, то ли решила не тратить пыл. Постукивая пальцем по сигарете, мать не отрываясь смотрела в одну точку. Репетирует беседу, поняла Валентина.

— Иннокентий, скажу, — медленно заговорила Марина, — что ты там задумал со своей тетушкой? Какого, скажу, лешего...

— Это ты называешь «дипломатично»? — хмыкнула Валентина.

— А какого лешего, в самом деле, он хочет на чужой спине в рай въехать? — взорвалась Марина. — Неужели в их трехкомнатных хоромах не найдется места для родной тетки?

Все было, однако, не так просто. В «трехкомнатных хоромах» еще недавно, кроме родителей Павла, жили его дед с бабкой — ветхие, слабые, часто и подолгу болевшие. Жизнь осложнялась не только болезнями. Как у многих стариков, у них были свои странности, смешные и нелепые для постороннего.

...В самом начале войны дед отослал жену с дочкой, беременной старшим сыном, в эвакуацию, сам же был отправлен в Ленинград в командировку. Оказалось — в блокаду, которую пережил благодаря зятю Иннокентию, находящемуся в оборонных частях. При любой возможности он пробирался в обледеневший город, чтобы поделиться с тестем скудным солдатским пайком. Спустя годы старик забыл об этом — или не хотел вспоминать, или память отторгала голодное лицо молодого Кеши и обмороженные руки, которыми тот вытаскивал из-за пазухи кусочек хлеба — крохотную порцию жизни. Забыл, наверняка забыл, и часто сердился, что ни дочка, ни зять не делают запасов, хотя хлеб есть в магазинах, продается без карточек и без очередей — не считать же пять-шесть человек очередь? За хлебом ходил сам — и сам же нарезал аккуратными ломтиками, сушил и складывал в наименее доступные места: мне же спасибо скажете. Дочка и зять находили тайники, сухари прятать не разрешали. «Папа, мыши заведутся!» — сердилась Галя. Смешная, думал старик. Какие мыши? Давно всех изловили и съели. Почему

кошки, кошек еще раньше... Ни мышей, ни птиц в городе не осталось.

Бабка пережила войну в эвакуации, блокады не знала и потому не понимала ни тревоги о «запасах», ни фанатичной сущи сухарей. Рассказы о бабке носили характер семейных анекдотов. Иннокентий Семенович любил повторять одну историю, как, придя с работы, застал тещу в глубокой печали. Она сидела перед зеркалом, не сводя с него горестного взгляда. «Что случилось?» — испугался зять. «Иннокентий, — скорбно и торжественно ответствовала старуха, — у меня появились морщины». Недавно ей исполнилось восемьдесят.

— И главное, я, как дурак, устался в это зеркало! — в который раз возмущался Иннокентий Семенович, выдвигая на руки лечебную мазь — до сих пор мучила обмороженная в блокаду кожа.

Галины родители остались в семейных воспоминаниях и на двух портретах в опустевшей комнате. С фотографий смотрели два похожих друг на друга стариковских лица — длинных, вытянутых и строгих; бабкино — с реденькой опушкой седых волос, дедово — в старомодных очках.

Они подолгу болели, потом уходили, не осознавая, что с ними происходит и кто эта женщина, которая дает им лекарства и меняет простыни. Время от времени спрашивали у нее: где же дочка? И почему так давно не заходит внук? Осмыслить, что внук сидит рядом и протягивает ложечку с едой, пережидая вопрос, уже было не в состоянии. Как и понять, отчего плачет «эта женщина», в которой они узнавали дочь в редких проблесках памяти.

...Валентина понимала, почему свекровь ничего не меняет в опустевшей комнате, и почему не хочет поселить в ней восьмидесятидвухлетнюю тетушку, тоже понимала.

Рассказывать матери сейчас об этом было неуместно, обе спешили: Валентина домой, Марина в отпуск — муж добыл путевки в Геленджик. Предстоящий отъезд отвлек Марину от праведного негодования, так что отговаривать ее от каких-либо действий, даже самых дипломатичных, не пришлось. Рассеянно обведя кухню взглядом, мать спросила внезапно уставшим голосом:

— Так что вы решили в конечном итоге?

Валентина пожала плечами:

— Павлик ищет обмен.

— Ну, Иннокентий... — Марина покрутила головой. — Не знаю. Может, на него отца напустить?

3

Марина и Галина Сергеевна были удивительно разными, словно не принадлежали к одному и тому же «родительскому» поколению. Галина Сергеевна — мягкая, тихая, домовитая — ходила чуть вперевалку, удрученно полнела, как и полагалось после пятидесяти, и мечтала, как, выйдя из своей бухгалтерии на пенсию окончательно, целиком займется внуками. Пока что сил было достаточно, да и работу жалко бросать, все же работающим пенсионерам идет полная пенсия. Выписывала журналы «Работница» и «Здоровье», избегала мучного и сладкого. Любая одежда выглядела на ней, как на картинках в «Работнице». Валентина привыкла к ее бесформенным костюмам «неброских» тонов, серым или бежевым, к одинаковым блузкам и столь же неотличимым одна от другой кофточкам. «Мне идет?» — спрашивала свекровь с неуверенной надеждой. Одним словом, «манная каша».

Марина была полной противоположностью Галины Сергеевны: стройная, худощавая, черные с проседью волосы коротко подстрижены. Одевалась просто и строго, либо чуть отставая от моды, либо с опережением, как она сама говорила, «на полтакта». В редакции, где она работала, иногда появлялись иностранные журналы, в которых мода, как Валентине казалось, следовала за Мариной.

...Из гастронома высовывался хвост очереди, слышались обеспокоенные голоса.

— Кончились?

— Говорят, чтоб не занимали!

— Что, совсем кончились?

— А мне с ребенком!

— Пока дойдем, кончатся.

— Смотри в одни руки сколько.

— Битые будут давать.

— Прошлый раз не давали.

— Десяток в одни руки.

— А кто с ребенком, так по два десятка?

— Да кому нужны битые?

— Вы еще грудного принесите! С ребенком она...

— Что, битые дают? Вы за битыми?..

Из магазина с независимыми лицами выходили счастливицы, бережно неся полиэтиленовые пакеты с яйцами. Валентина привычно заняла очередь, но через несколько минут люди стали расходиться — яйца кончились. А жаль: взяла бы два десятка, себе и свекрови. По негласной договоренности так и делалось, иначе сидеть бы им на пельменях.

Яйца, бестолковая перепалка в очереди, пельмени в вечной мерзлоте холодильника заглушили на время страстные, но логичные доводы матери. Марина уедет, а голос останется

ся, да иначе и быть не может — она выразила ее собственные сомнения, теперь оставалось беззвучно «проигрывать» диалог.

«Вы прибавите себе комнату с восьмидесятилетней нагрузкой».

«Мам, дети растут...»

«У мальчишек просторная комната, вам тоже места хватает».

«А работать? Ты же знаешь, я с ними не могу сосредоточиться...»

Сейчас Валентина злилась на себя: получалось, что она, как попугай, повторяла Кешины аргументы — не потому что признавала их убедительность, а за неимением собственных. Помочь нужно? — Нужно. Так о чем разговор?

«Не утрируй, — мать была беспощадна, — вы живете, как буржуи. А тут... Подумай сама: чужой человек будет у тебя на голове. Ты сможешь сосредоточиться? Не смехи. Потом она начнет болеть...»

«Ну почему сразу плохое, почему болеть?»

«Да потому что ей восемьдесят два года, как ты не хочешь понять?! В таком возрасте футбол не гоняют. И начнется: сердце, давление, беготня по врачам... И все это свалится на тебя».

«Родители Пашкины помогут...»

«Именно: помогут! Зайдут поахать, посидят у теткойной кровати, потом ты будешь их еще чаем поить...»

«Мам, но Галя нам всегда...»

«Знаю, знаю: Галя харчи купит, с детками посидит, а у Кешин золотые руки. Только у тебя мать никудышная».

«Мам, ну ты что, поссориться хочешь?»

«Я сама знаю: бабка я факультативная. Помогаю мало, зато никого на тебя не вешаю».

Потом она выдохлась, погасила недокуренную сигарету и бросила устало: «Ты же в глаза эту тетку не видела, доченька...»

Это как раз было решаемо. Через неделю в Питере началась конференция по информационно-поисковым системам — людей посмотреть, себя показать; вернее, свою задачу. Закрывалась конференция в пятницу, так что оставалось два полноценных дня, чтобы увидеть тетку «в глаза». Купить цветы, позвонить — сначала по телефону, потом в дверь. Издалека слышатся старушечьи шажки, приоткрывается глазок, звякает цепочка: «Вам кого, простите?..» Ну да: там ведь сосед этот, пьяница, к нему всякие забулдыги ходят... Обрадуется, конечно: «Какой сюрприз! Проходите, пожалуйста!» Приветливые глаза лучатся морщинками, старенькое темное платье, на плечах вязаный платок: «У нас отопление отключили»... Наверное, она говорит по-французски: гимназия, Смольный институт, первый бал, а там сразу революция, Гражданская война... Вдруг она с Ахматовой была знакома, с Блоком?.. Заговорит о муже — как познакомились, как жили, как болел; заплачет. Отвернется к окну, замолчит; в сухом кулачке зажат кружевной платок. «Простите меня, детка».

Потом спохватится, засеменит на кухню: «Я сейчас, только чай заварю». В это время можно будет библиотеку посмотреть: маленькие томики с потускневшим золотым обрезом, уголки потрепаны. «Грандисон» какой-нибудь. Или Гумилев, в старой орфографии. Да у нее может найтись весь Серебряный век; запросто!

Здравый смысл пытался обуздать воспаленное воображение. Почему непременно темное платье, платок на плечах, приветливые глаза, с чего ты взяла? Может, она

толстая, одышливая, в цветастом — или в горошек? — домашнем замызганном халате, рукава засучены... Нечесанные волосы пучком, из него высовываются шпильки. На ногах — узловатые вены; шлепает по коридору в разношенных тапках, и задники звонко чмокают при каждом шаге. Начнет говорить о пьянице-соседе, об очередях, дороговизне и как ничего не достать: «Стояла за яйцами — и тех не хватило! Чаю-то выпьете?..» Без чая уйти не удастся, придется пить из плохо вымытой чашки с застарелым коричневым налетом по краю, выслушивать жалобы на пьяницу соседа, кивать. И плевать ей на твою конференцию и на доклад, а вместо Гумилева на полке — сутулые слоники и какая-то пыльная фарфоровая дребедень.

Однако ни сальные волосы, ни вены на ногах в чмокающих тапках никак не вязались с образом петербургской старушки. Интересно, «напустила» Марина отца на Кешу или только грозилась? Надо бы ему позвонить, а не рисовать дурацкие картинки. Скоро — после конференции — воображение будет повержено здравым смыслом, который и займет его, буйного воображения, место. Пока же стало ясно, что библиотечный день прошел бездарно: к статье не прикоснулась, постирать не успела, даже яйца не купила.

4

День рождения Павла прошел, как обычно происходило в последние годы, в «две серии». В среду, строго в соответствии с датой, пришли поздравить родители, а в конце недели собрались друзья; дети остались на попечении Галины Сергеевны и Иннокентия Семеновича. Если кто-то и заметил, что Марина держалась несколько скованно, то ничего

сказано не было. Несколько раз она ловила предупреждающий взгляд мужа: не вздумай. Если бы не этот взгляд и не предшествующие споры, Марина наговорила бы свату кучу лишнего.

— Почему «лишнего», почему? — возмущалась она, перед тем как выйти из дому. — Кто-то же должен сказать этому индюку, что нельзя взваливать на ребят такое бремя! Павел молчит, Валюшка не скажет, так это сделаю я!

— ...и начисто испортишь отношения не только с Иннокентием, но и с ребятами, — терпеливо повторял муж. — Они большие детки, сами разберутся. Не встревай.

Павел занялся обменом, и скоро ему стало казаться, что никогда и ничем он не занимался так энергично. День начинался рано и продолжался до позднего вечера — после работы нужно было обзвонить таких же «обменщиков», как он сам. Отец своими наставлениями стал раздражать. «Ей восемьдесят два года, не забывай, — напоминал он со значением, — со дня на день все может случиться». И добавлял не очень понятно: «В таком мире живем».

Он с самого начала четко разделил функции каждого.

— Твое дело — искать, — наставил на сына указательный палец с потрескавшейся кожей. — Я помогу, конечно. Решает все Валентина, мы с мамой не вмешиваемся — у нас голос совещательный.

Свекровь кивнула.

— Ты, дорогая, — теперь палец указывал на Валентину, — решаешь, какая квартира вам подходит. Исходишь только из интересов детей и ваших собственных, учти это. Софа пожила свое; много ли ей теперь надо?

Жена вздрогнула, вспомнив топор и проломленную голову.

— Немного тепла, — продолжал Иннокентий Семенович, — доброе слово да какой-никакой комфорт, вот и все.

Павел слушал отца со смешанным чувством восхищения и раздражения. Кеша — блестящий организатор: излагает, как на планерке. Был период, когда оба работали в одном и том же НИИ, где Иннокентий Семенович возглавлял отдел научной организации труда. Весь отдел казался Павлу ненужным придатком института; к счастью, хватило сообразительности не говорить об этом отцу. Впрочем, тот и сам наверняка знал анекдот о переставляемых столах, не мог не знать, а потому ляпнуть что-то означало бы не только ломиться в открытую дверь, но и привести в действие вулкан: отец был вспыльчив, да и своей поздней диссертацией по НОТ очень гордился.

Теперь Иннокентий Семенович отыскивал какого-то маклера. Маклера Павел не видел, но отличал по голосу, уверенному и немного вкрадчивому. Звонил он часто и уверял, что квартира «как раз, как вы ищете» и посмотреть ее необходимо прямо сейчас, «иначе уйдет». Павел отпрашивался, они с Валентиной мчались смотреть, а вечером дома снова трещал телефон, и тот же убедительный голос уверял, что хозяева согласились подождать — «до пятницы, в крайнем случае — до субботы». То есть квартира никуда не «уходила», просто маклер торопился получить деньги с обеих заинтересованных сторон.

Обменная беготня началась и в самом начале застопорилась — Валентине надо было ехать в Ленинград. Она поймала себя на том, что больше думает о предстоящей встрече с тетей Софой, чем о своей задаче.

— Ты сам-то видел ее когда-нибудь? — спросила мужа.

— Если видел, то очень давно, в бессознательном детстве, поэтому начисто забыл, даже лица не помню. Так что

познакомишься за нас обоих. И привет передай — вдруг она меня помнит? — Павел сел на диван, стянул свитер вместе с рубашкой и майкой и самозабвенно зевнул.

Как только Валентина села в поезд и он двинулся, вся домашняя суета куда-то отступила, словно отъехала вместе с перроном. Теперь важно было не то, что надевать детям в садик, опоздают они к завтраку или придут вовремя, а только предстоящая завтра конференция.

Завтра встретило ее резким питерским ветром, уютным гостиничным номером, а потом — бодрым гулом зала. Конференция обещала быть интересной и живой. Вопреки обыкновению, в этот раз Валентина слушала рассеянно. Мало-помалу начала втягиваться, встретила двоих однокурсников. На следующий день был ее доклад, а потом слушала очень интересное выступление парня из Новосибирска, но кончался четверг, оставалась одна куца пятница, банкет, а на следующий день — за цветами для Кешиной тетки.

...По пути в гостиницу решила не ждать завтрашнего дня — цветы продавались прямо у входа в метро. Южного вида толстяк с глазами навькате зябко кутал подбородок в мохеровый шарф: «По два рубля отдам!» В сумерках розы выглядели коричневыми, да и вообще казались слишком претенциозными, но где найдешь цветы в субботу, в незнакомом городе? Зато с утра можно будет отоспаться. Продавец истолковал ее колебания по-своему: повел в обе стороны выпуклыми глазами и пробормотал вполголоса: «Бери по полтора».

Коридорная принесла стеклянный кувшин, и номер вспыхнул ярким торжественным багрянцем. За три оставшихся до банкета часа можно было привести себя в порядок и позвонить домой. Дозвонилась — и села, не выпус-

кая попискивающей трубки из рук: у Ромки температура, его рвет, Павлик на работе, свекровь сбилась с ног. Пришлось наскоро затолкать в сумку вещи и мчаться в аэропорт, а если погода плохая, то до поезда оставалось на час больше, чем до банкета. Коридорная, не ожидавшая столь щедрого подарка, раздумянилась не хуже роз.

Убрали трап, и самолет резво покотился по взлетной полосе, удаляясь все дальше и дальше от банкета, от Невского с незнакомой зябнущей старушкой — в другой раз как-нибудь, прости, тетя Софа. Валентина вяло пожалела — могла бы привезти цветы домой... А, бог с ними; только бы Владик не заразился, только бы не что-то серьезное, папа наверняка был, если Пашка позвонил ему, — отцу она верила безоговорочно. А если не звонил, вызвали ли районного? Как назло, завтра выходной. В иллюминаторе отражался свет салона, мелькнуло пучеглазое лицо цветочного продавца... Нет, показалось: не он; Валентина прикрыла глаза.

Дома на вешалке висело пальто отца. Валентина перевела дух. Ромка сидел у деда на коленках, привалившись головой к плечу; на кухне Галина Сергеевна кормила Владика. Мирная, безмятежная картина.

Зачем ты спешила, не надо было, повторяла свекровь, но не скрывала облегчения.

Отец улыбнулся:

— А Ромка поросеночком стал. Как Пятачок. — И пояснил, уже для дочери: — Свинка.

— Я тоже Пятачок!

Младший вбежал в детскую и кинулся к деду.

— Нет, — серьезно ответил тот. — Ты у нас будешь... Крошка Ру, вот ты кто. Помнишь, кто лучший друг Пятачка?

Свекровь убирала посуду. Валентина заметила привычную уязвленность на лице: когда мальчишки видели «деда Диму», все остальные отступали на второй план.

— Галина Сергеевна, сдавайте смену, я вас подвезу!

Папа звучал, как всегда, обезоруживающе. Свекровь еще бормотала что-то об автобусе, но сама уже спешила к выходу. Валентина закрыла дверь, и вдруг показалось, что не было никакой конференции, не было гостиницы и многолюдного оживленного метро. Только стояли перед глазами розы, пламенеющие кармином, жалко было праздничной их красоты — потому, наверное, что ей давно никто цветов не дарил.

5

Если Иннокентий Семенович не мог поехать на очередные «смотрины», то требовал подробного отчета. В чужой квартире он вел себя по-хозяйски: распахивал окна, крутил краны, несколько раз спускал воду в туалете. Валентина с Павлом отводили глаза.

Люди, приходившие к ним, вели себя по-разному: одни держались уверенно, как Иннокентий Семенович, другие робко озирались. Если Иннокентию Семеновичу случилось присутствовать в это время, скупой обмен информацией перерастал в пылкий театральный диалог.

«Горячая вода крутые сутки, хороший напор».

«Два во двор, одно на улицу».

«Двухкомнатная здесь и две комнаты в Ленинграде».

«И там, и там две... Но у нас пять; тогда с доплатой...»

«Ленинград, высокие потолки!»

«Конечно; но там коммунальная...»

«Зато в самом центре, на Невском! Рядом с Литейным!..»

«Два плюс два — четыре, как ни крути...»

«Площадь! Площадь — один к одному!»

«Мы вообще-то...»

«Потолки! Вы не видели те потолки!»

«Нам, знаете, потолки без разницы — два плюс два...»

«Паркет, в самом центре...»

«Нет, мы в принципе не против, но с доплатой...»

«Потолки три и восемь десятых в центре, какая доплата?!»

Часто звонил телефон; задавали один и тот же вопрос: «А что у вас?», хотя в объявлении все было сказано. А у нас в квартире газ, привычно раздражался про себя Павел. На столе всегда лежал блокнот, исписанный адресами, телефонами, торопливыми «приметами» квартир. Список угрожающе разрастался. Ночью во сне чужие комнаты вертелись, словно в окошке калейдоскопа, и распадалась, менялись местами, принимали самые причудливые формы: колбы, шара, пирамиды, которые внезапно плавились, растекались или дробились осколками.

Вернулись из Геленджика родители; первый вопрос был: «Ну как?..»

Перед ноябрьскими праздниками Павел предложил: а не слетать ли в Ленинград?.. И развеяться немного, и с теткой наконец познакомиться, хотя отец уверял: ты должен ее помнить, в... каком это было году, Галя? — мы ездили в Ленинград, она тебя по всей квартире водила! Нет, ну как ты не помнишь?!

Валентина обрадовалась: в Ленинград! Тетя Софа, петербургская старушка в изношенном своем пальтеце, давно ждет их, а сейчас пыгается раскрыть под ледяным дождем

старомодный зонт, и лихой ветер толкает ее в спину, — теть Софа, о которой все забыли в этой суете, словно не она была первопричиной лихорадки под названием «обмен». Конечно же, полететь — вдвоем с Павликом, а Галя с Кешей побудут с пацанами, да и мать, «факультативная» бабка, соскучилась.

А на следующий день в садике началась ветрянка, что означало карантин, и весь расписанный как по нотам план полетел в тартарары: до праздников еще три дня, но как оставлять мальчишек — вдруг уже подцепили заразу? Казенный праздник, удачно приспособленный для Ленинграда — и с теткой познакомиться, и к телефону не подходить два-три дня, — все пошло кувырком. Знакомство с тетей откладывалось, только обмен отложить было нельзя.

...Карантин в садике подходил к концу, когда расцвел ветрянкой Владик. Через два дня оба ходили раскрашенные зеленой. Наконец Павел повел утром обоих мальчиков в садик, и забирать пришлось тоже ему: слегла Валентина. Слегла в буквальном смысле, потому что в детстве ветрянкой не болела. Мучили жар, зуд и то, что нельзя было сделать самое простое — почесать болячки: врач пригрозил, что шрамы останутся навсегда.

В то же время ветрянка была блаженством, отдыхом от всего сразу. Дети кочевали от Марины к свекрови, муж убежал на работу, оставив рядом с диваном боржом, только руку протяни.

Что она и делала: тянулась за бутылкой, жадно пила прямо из горлышка, опершись на локоть и роняя шипучие капли на пододеяльник, и ложилась снова. К телефону не подходила, хоть он разорвись. Кончилась морока с адресами и осточертевшими экскурсиями по чужим домам — ленинградская тетка переехала к ним. Вот она в пальто,

застегнутом на все пуговицы, сидит на диване рядом, отставив худую ногу в *фильдеперсовом* чулке. Смотрит вовсе не на Валентину, а на собственную ногу, и поворачивает ее так, чтобы Валентина тоже могла как следует ее рассмотреть. «Фильдеперс, Серебряный век», — вполголоса бормочет она, хотя Валентина не замечает ничего особенного: простые грубые чулки на худой ноге, воткнутой в мокрый растоптанный сапог. И зачем она вот так, в пальто, сидит прямо на постели? Но сказать было неловко: вдруг обидится. Старуха кокетливо повернула голову в плотно надвинутой круглой коробке. «Ток, — объяснила она, — вуаль я оставила на Невском, по условиям обмена. Вот», — она придвигалась ближе и совала Валентине в лицо какую-то бумагу. Край листа загибался и щекотал ей лоб, это было невероятное блаженство... Проснуться заставил будильник, оказавшийся телефоном. «Да! — кричал кому-то муж, — я слушаю! Четвертый; нет, без лифта...» Фильдеперсовая старуха пропала. Яростно чесался лоб; Валентина прижала лицо к подушке и мотнула головой.

...Отвалившийся струп оставил маленькую ямку, похожую на след птичьего когтя. В первое время после болезни Валентина запудривала шрамик: казалось, все смотрят на ее лоб.

И вдруг — нашли обмен.

Не квартира — мечта, такие показывают в кино о прошлой жизни: светлые просторные комнаты, балкон, лепнина на потолках; вот-вот появится экономка. Ванная величиной с их нынешнюю кухню, а в самой большой комнате — эркер, бывает же!.. Мечта смотрела всеми окнами на сквер. Со дня на день ждали, когда вторая сторона даст окончательный ответ, и ох как трудно было не расставлять мысленно мебель,

а письменный стол отлично войдет в эркер, и... Вот-вот должен был состояться этот обмен и почти совсем было состоялось, но в последний момент те, другие, передумали.

Больше всех был раздражен Иннокентий Семенович; его настроение передалось Павлику, который и принес его домой.

Всегда добродушный, легко подтрунивающий над женой, он с не свойственной для него горячностью разразился длинной тирадой, часто повторяя «в конце концов». Родители не железные, и кто-кто, а Валентина должна это понимать. В конце концов, они немало для них делают. Оба запарились, отцу этот обмен уже вот тут сидит, сколько можно тянуть?! Ей дали возможность выбрать — так выбирай, в конце концов, Новый год на носу. Время идет, и твой драгоценный алгоритм может подождать, если больше ты ни о чем не думаешь, а вот обмен ждать не может. В конце концов.

Он говорил все это, сердито наклонив лобастую голову, не поднимая глаз.

Они никогда по-настоящему не ссорились, и не поссорились бы и сейчас — мало ли что наговорит усталый и голодный мужик, *в конце концов*, если бы не воткнул он сюда алгоритм, который может якобы подождать. Ему ли не знать, почему она до сих пор не закончила?

Хотела сказать: замолчи, — но выскочило совсем другое:
— Кусок идиота. Детей разбудишь.

6

И как теперь жить с собственным хамством, она не знала. Попросить прощения мешали глупые, сказанные сгоряча, слова. Вот зачем он?..

...Темнело рано и быстро, в детском саду ярко светились окна. Толстая воспитательница читала вслух книжку, возвышаясь над ребятней. Она сидела, нависая боками над низким детским стульчиком и чудом его не расплющивая. Ни Ромки, ни Владика среди детишек не было.

Валентина ворвалась в дом, бегом взлетела на четвертый этаж (высокий, без лифта) и, уже отпирая дверь, услышала громкий хохот. Из телевизора несся голос простофили Волка: «Ну, Заяц, погоди!...»

Гад, просто гад! Не мог позвонить?.. Это произошло впервые: всегда договаривались, кто заберет «орлов», как Павел называл мальчишек. «Всегда» — это до сегодняшнего дня, который начался вчера сорвавшимся обменом, ни в чем не повинным алгоритмом, повлекшим за собой «кусок идиота». Сама виновата, дура несчастная.

И дни потащились пустые, несмотря на занятость, пустые и какие-то второстепенные. Все, что вчера еще было важным, обесценилось: елочные игрушки, костюмы для утренника в садике, распечатки программы... Все стало корявым: их с Пашкой слова, движения, взгляды. Перестали называть друг друга по имени; почему-то невозможно было произнести привычное «Пашк!» — оттого, должно быть, что не слышала ласкового «Валюша». Встречались глазами — и сразу отводили, словно пассажиры в автобусе. Разговоров больше не было, только вопросы и ответы. «Детей заберешь?» — «Постараюсь». — «Если не сможешь, позвони». — «Кофе что, кончился?» — «В кофемолке есть». — «Тот я выпил». — «Тогда нет. Я куплю». — «Владик ночью кашлял».

Ночи стали неловкими. Спать укладывались, стараясь не задеть друг друга. Валентина вспомнила когда-то вычитанные слова «обоюдоострый меч» и не придвигалась

к продольной ложбинке дивана, словно она и была тем самым обоюдоострым мечом. Ей вспомнилась их старая низкая тахта, напротив которой на стене висели ветвистые олени рога, неизвестно откуда у Павлика взявшиеся и так же неизвестно куда исчезнувшие, когда родился Ромка. Но тогда, раньше, все было иначе. Павлик озабоченно крутил головой: «Что-то рога запылились...», после чего летел и повисал на костяной ветви ее лифчик, а следом за ним трусики. С этим украшением рога сразу теряли свой грозный вид. «Хранители домашнего очага», — смеялся Павлик.

...А если протянуть руку и положить на плечо? Глупости; мириться не обязательно в кровати, возмутилась она и... легко прикоснулась к теплому любимому плечу. Коснулась — и поняла, как сильно ей не хватало этого тепла.

Плечо дернулось. Муж резко обернулся и буркнул с досадой: «Я сплю; ты что, не видишь?..»

Веки разлепились на мгновение и сомкнулись. Павел ушел в сон, как под воду. Через минуту — или десять минут? час? — он проснулся от чего-то плохого, страшного, что случилось не во сне, а наяву. Здесь, рядом. Валюшка?.. Он рывком обернулся, простыня соскользнула. Жена спала на боку, согнув ноги в коленях, и видны были только ступни — маленькие, почти как у Ромки, совершенно беспомощные. Павлик осторожно накрыл ее, боясь почему-то прикоснуться, хотя ничего так не хотел в эту минуту, как обхватить ладонью маленькую ногу. Медленно, чтобы не скрипнул диван, отвернулся и, передвигаясь по сантиметру, пытался устроиться удобнее и заснуть, да где там. Не было такого положения, как не было покоя. Мучили стыд и раскаяние. Я не «кусочек идиота» — я законченный идиот и сволочь, к тому же скотина редкостная. Всего-то и нуж-

но было повернуться к ней, обхватить обеими руками, потом, как всегда, запутаться в ночной рубашке и сдернуть ее к чертовой матери... Сам отпихнул ее, сволочь, идиот!.. Он чуть не выругался от самой бессильной в мире злобы — на себя.

Так оба лежали в темноте, слишком тихо и слишком напряженно для спящих, пока на улице не забренчал первый ленивый трамвай.

В один из таких дней решено было, что Иннокентий Семенович заберет «орлов», и Валентина направилась после работы к родителям — домой не тянуло. Отец еще не вернулся, и Марина, как назло, вернулась к «спиваковским за-теям»:

— Ну, что там с этим питерским реликтом?

Валентина сидела, повернув голову к окну, словно через темное стекло можно было что-то рассмотреть.

— Ищем квартиру.

Пожала плечами, стыдясь признаться себе, что меньше всего в последнее время думала о «реликте». Действительно, одинокую фигурку с авоськой в руке вначале заслонила ветрянка, затем эркер, распахнувший объятия письменному столу, сбоившая программа, «обоюдоострый меч»... Заслонили и оттеснили, оставив стоять на перекрестке, где она дожидается зеленого света, но машины несутся непрерывным потоком, едут автобусы, а в светофоре ничего не меняется. Все так же издевательски долго горит круглое желтое око: ждите... ждите... ждите ответа, как в телефонной трубке; ждите обмена... Позвонить ей, что ли, вяло подумала Валентина. Позвонить — и хотя бы познакомиться по телефону, что ли. Обнадежить: ищем, мол. Впрочем, Кеша говорил, что она плоховато слышит — возраст, да. Для телефонного разговора, мягко говоря, неудобно.

Неохотно поднялась.

— Мне домой пора, поздно уже.

— Подожди, — мать тоже встала, — я достала банку меда. Сами-то мы его не очень...

Снег больше не сыпался, будто весь кончился. Валентина с трудом натянула сырые перчатки. На троллейбусной остановке стояли двое, крепко обнявшись. Девушка улыбалась. Подкатил троллейбус. Внутри было тепло и немногочленно: час пик давно позади, люди разъехались по домам, кроме той парочки, так и застывшей на остановке. Валентина села к окну. По ногам шло тепло от батареи. Только она стала согреваться, как на очередной остановке люди начали вставать и двигаться к выходу. «Чие вы меня толкаете? — возмущался женский голос, — ну чие? Я вам что, жена или сестра?» Троллейбус пустел. Из кабины выглянул водитель: «В парк еду». Раздался щелчок, и свет потускнел. Валентина встала, поплелась к выходу и едва успела выскочить из смыкающихся дверей.

...Вошла в дом с одним желанием — выпить горячего чая.

Муж вышел из комнаты. Сейчас скажет: «Привет» — и повернется спиной: спать. Хотя завтра суббота.

— Замерзла?

Валентина стаскивала перчатки с окостеневших пальцев. Размотала шарф, скинула пальто. Запоздало кивнула. Павел наклонился, чтобы расстегнуть сапоги. Коленки в тоненьких колготках были на ощупь как стеклянные. Он усадил ее на скамейку и начал согревать их руками.

— Провались он пропадом, этот обмен!..

— Ты... что случилось? — испугалась Валентина.

Он заговорил — торопливо, обычным своим голосом. Поговорить с родителями, просто объяснить, они пой-

мут — не нужны им квадратные метры незнакомой тетки, пацанам хватает места в детской. Другие в однокомнатных — и ничего, вон на Валерку посмотри, да ты знаешь; а то в коммуналках годами мучаются... В кино сто лет не ходили... да никуда не ходили! Что, только кино на свете существует? Я мальчишек в цирк сводить обещал... Родители поймут. Отцу просто необходимо передохнуть, он совсем замотался... Тебе надо что-то теплое... Подожди, я свой исландский свитер дам! Он колючий, но зато сразу согреешься. И выпей водки! Или у нас еще «Плиска» есть, там немножко, как раз на согрев!

Оказывается, он давно хотел это сказать. Чуть не добавил: «Мы живем, как в коммуналке какой-нибудь. Или как в общежитии», но Валентина включила воду, начала смывать тушь, и вместо слишком откровенных слов Павлик пробормотал:

— Я чайник поставил.

Сейчас они заварят свежий чай и посидят вдвоем, что нечасто случается, посидят спокойно в кои-то веки... Тем более что он давно готовился к разговору с родителями. Вернее, с отцом — мать-то всегда думает, как отец. Поехать надо одному, без Валюшки. И что с ней разругались и потом почти не разговаривали, упоминать ни к чему. Реакцию он тоже мог предсказать. Отец махнет рукой: «А, делайте как хотите», что не предвещает ничего хорошего. Насупится, ни на кого не глядя, возьмет тюбик — начнет мазать руки. Мать станет балансировать, сглаживать углы: «Ты не волнуйся, Кеша...» — «Я шестьдесят пять лет Кеша, при чем тут “волнуйся — не волнуйся”!» — всегда округляет свой возраст, когда взрывается. «Пожалуйста, Павлик, — мать повернется к нему, — папа усталый. Зачем решать серьезные вопросы на ночь глядя?» — «При чем тут

“усталый — не усталый”, Галя, ты бы хоть, в самом деле...» Да знаю я, знаю, что «папа усталый», что у него болят обмороженные руки, но мне надоело накапливать квартирную статистику, держать в голове метраж-этаж-гараж, у меня жена... у меня как будто жены нет, папа, ты понимаешь это?! Мне... да *положить* мне на этот обмен! Именно так и сказать. Шоковая терапия? — пускай! Отец рявкнет: «Откройте кто-нибудь мне дверь — у меня руки намазаны!» — пойдет на кухню и закурит, он всегда курит, если на работе завал или нервничает.

Ну, «положить» при матери говорить не стоит. Просто: мы сыты обменом; все. В конце концов, эта неизвестная тетя Софа какая-то, я даже не видел ее!.. И вообще мы сами решаем, это касается нашей семьи, вы должны понять...

И тут длинно зазвонил телефон.

Рванулся, схватил трубку: «Да!» Женский голос в ответ алекнул вопросительно; Павел с облегчением перевел дыхание. «У нас четырехкомнатная с балконом и *больфая* кухня», — начала женщина. Некоторые слова у нее выговаривались как-то уютно, словно сквозь шерстяной шарф: «Это совсем *рядыфком* с вами, а мы после *фести* дома». Привычно записал адрес и, только повесив трубку, понял вдруг, что женщина будет напрасно ждать, что не пойдут они смотреть «*больфую* кухню» — ведь решили *положить* на обмен, хватит. Повернулся к телефону — перезвонить, но записан был только адрес, телефон не спросил...

...Младший всегда просыпался первым, и Павел, открыв глаза, настороженно прислушался. Тихо. Только через несколько секунд вспомнил: пацаны у родителей, а сегодня суббота, на работу не надо.

Жена крепко спала, одна рука была вытянута к его подушке. Он осторожно встал и вышел на кухню, прикрыв дверь.

Отец, конечно, на ногах, а значит, и мать тоже. Будут звонить в Ленинград, объясняться с теткой — вернее, объяснять ей, что ничего в ее жизни не меняется. Спросит бодрым голосом о здоровье, о погоде «у вас там», а потом сокрушенно признается: мол, Павлик с женой ничего не нашли... пока, во всяком случае. Не лишать же восьмидесятидвухлетнюю старуху последней надежды?

Вдруг взвзгляд упал на записанный адрес. И сразу вспомнился вчерашний звонок (та женщина бы сказала: «вчерафний») и что зайти пообещал. Как натягивал на Валюшку свой толстый свитер, грел руками ее замерзшие коленки в тоненьких колготках, ледяные на ощупь, и как пили коньяк... Это первое, что Павел сегодня увидел: щекастая бутылка «Плиски» на письменном столе.

За окном было светлее, чем вчера, а карниз полностью скрылся под снегом. Вполне подходящий день, чтобы сходить с мальчишками на горку. Или в цирк, если погода испортится. Потянулся к телефону. «Звонки были новые?» — спросил отец. Да *положить* мне на новые звонки, приготовился возмутиться Павел и... не возмутился. «Вы что там, спите еще?» — с веселым напором продолжал отец. Вот тут и пригодился вчерашний звонок. «Рядом с нами вроде бы, — закончил он, — сегодня с Валею посмотрим». И положил трубку, забыв про горку и про цирк.

Валентина в пижаме стояла в дверях.

— Там все нормально? — кивнула на телефон. — Едем?

— Нам с тобой сегодня дают отгул. — Это вышло почти весело. — Пускай они там покурюлесят — старики соскучились.

Открыл холодильник и, вынимая неторопливо масло, творог и молоко, продолжал непринужденно:

— А после шести мы прогуляемся до почты, там одна квартира с большой кухней, вчера звонили.

Жена надевала халатик и замерла, просунув одну руку в рукав:

— Пашк... ты же сказал...

Ну что тут понимать, спрашивается, что?! Сказал — не сказал, какое это имеет значение... Хотел сказать, но знал, какая будет реакция, кто какие слова скажет и как отец насупится; хотел сказать, да! И сейчас хочу! Но как объяснить, что между «сказать» и «не сказать» зазор в несколько секунд, что выговорить вроде просто, но почему-то не получается. Не выговорил. Не смог. Ну что тут понимать?!

Закрыв холодильник, развернул пакет с сыром и поднял глаза на жену. Заговорил спокойно, как обыкновенно говорил с сыновьями:

— Подумай сама: нас ведь никто за язык не тянул. Отец предложил этот вариант, а мы могли согласиться или сказать «нет, спасибо». Решала ты, и ты согласилась.

— А ты?..

— А что я? Я — примкнувший-к-ним-Шепилов, я — как ты. Черт с ней, с жилплощадью, но мы ж обещали, Валюш... а что в Питер не попали, так еще не вечер. И вообще мне все это давно вот здесь сидит, только... ну жалко старуху, понимаешь?

И родителей жалко. Но этого не сказал, а смотрел, как Валентина ловит сползающий халат и никак не может попасть в рукав.

На мужа не смотрела — было стыдно. Нарисовала себе умилительное кино, по всем законам жанра: ветер в спину, выношенное пальто, французские книги, кружевной пла-

точек в руке. Лубок, дешевка; а на самом деле там безнадежное одиночество, ледяная пустыня. Человеку не с кем словом перекинуться, пока ты кокетничаешь с человеческой жизнью, квартиры выбираешь. Бедный Пашка, мотается целыми днями, недосыпает, однако время находит... Горло перехватило. Валентина с трудом глотала кофе.

— Ну хочешь, — примирительно добавил он, — посмотрим сегодня последнюю хату? В конце концов, мы ничего не теряем; и близко. Не подойдет — так и скажем, отец ведь хочет как лучше.

Что-то неприятно царапнуло. А, вот: в конце концов. Откашлялась и хриловато сказала:

— Посмотрим, конечно. О чем разговор?

Что и было сделано.

Квартира оказалась хороша. Если и хотелось к чему-то придаться, чувство вины надежно удерживало Валентину. Да к чему придаться? — Выше ожиданий. Два входа — парадный и черный, целых две прихожих — получалось, что у тети будет свой отдельный вход. Двери — высокие, двойные. Кроме цепочек, на каждой двери сидел прочный тяжелый засов. Основательная квартира, любую осаду выдержит, подумал Павел.

Самая просторная и светлая комната предназначалась тете Софе.

Квартирная суета вошла в новое русло — бумажное: согласие сторон, заявление, разрешение в нескольких инстанциях. Иннокентий Семенович великодушно взял на себя все хлопоты, включая Ленинградский райисполком. «Я сам поеду, — заявил он, отмахнувшись от вялых протестов сына. — Ты понадобисься, когда будем вещи перевозить. Да и в Ленинграде я давно не был».

Иннокентий Семенович вернулся из Ленинграда «со щитом», как он горделиво выразился. Бумажная суэта осталась позади, тетка собирает вещи, хотя что там особенно собирать?

— Я так и сказал: не тащите весь этот хлам, у вас будет одна комната! — громко говорил Спиваков.

— Не кричи, — то и дело вставляла жена.

— Софа плохо слышит, — продолжал он так же громко, — я всю неделю вынужден был орать, чтобы докричаться. Почему, говорю, вы слуховой аппарат не носите? Он, говорит, мне мешает, — и рассмеялся. — Мешает ей, видите ли.

Кому хлам, а ей — дорогая память о прошлом, думала Валентина. Вот незнакомая тетя Софа бережно снимает с полки статуэтки, рассматривает и собирается поставить назад, но в последний момент отводит руку, кладет «этот хлам» в чемодан, аккуратно пристраивая между ветхими полотенцами, чтобы не разбились. Она одета по-дорожному, для поезда, в старенькое, но «приличное» платье с темной вязаной кофтой поверх, от сквозняков. Она смотрит на стены, где на выгоревших обоях темнеют овалы, прямоугольники — там висели фотографии. Теперь комната выглядит ослепшей, и сама тетя Софа вдруг начинает плохо видеть от заволакивающей глаза влаги. Вот корзина с кухонной утварью: сковородки, казанок, несколько кастрюль, а то как же, на новом-то месте? Племянник торопит, он недоволен: «Оставьте, кому нужен этот хлам, у вас там все будет, я вам говорю!» Но как оставить, если муж ел суп из этой тарелки — вторая такая же разбилась, а было две; ты помнишь, Кеша?.. Вот его любимая синяя чашка — позолота по краю и на ручке стерлась, а чашка не простая —

юбилейная, подарок на семидесятилетие. Блюдца нет — оно треснуло и развалилось на две половинки, пришлось выкинуть. Это произошло незадолго до того, как... перед тем, как... Старая женщина отворачивается, чтобы племянник не видел ее слез; отворачивается и беззвучно шевелит губами, досказывает окну историю чашки. Как она купила в «Пассаже» блюдце, похожее на треснувшее, только поглубей, а дома выяснилось, что кружок для чашки маловат, она неустойчива... Так и с людьми, не только с посудой. Тетя Софа вытирает глаза маленьким платочком, засовывает его в рукав и возвращается к укладке вещей — или «хлама», как посмотреть.

Валентина собирала вещи. Сборы незнакомой ленинградской тетушки словно стояли перед глазами с каждой откладываемой мелочью. Немножко грустно было избавляться от игрушек, из которых мальчишки выросли. Много времени тратилось на мелочи: не забыть — уложить — выкинуть. Очень помогла Лилька, приходившая по вечерам и до глубокой ночи суетившаяся вместе с ней; при ней было не так грустно от пустеющей квартиры. Однако даже сейчас, наполовину разоренная, она оставалась Домом.

...Откуда эти валенки — крохотные, на годовалого ребенка? — выкинуть их к чертовой матери. Пашкины кеды — туда же, прямо сейчас, пока не вернулся, не то вцепится мертвой хваткой. Арифмометр... чей, господи?! Тяжелый, ручка почти не двигается... Это стеганое одеяло Валентина помнила с раннего детства: бордовый атласный верх и простецкий сатиновый низ в мелких цветочках. Жизнь не прошла даром: блестящая «парадная» сторона, как и пролетарский подбой, протерлась, растрескалась, и ключьями торчала вата. На выброс. О, какая встреча: ста-

рый рюкзак, он побывал на Урале, на Карпатах и где-то еще. Пашка не даст его выбросить — и не надо: можно напихать внутрь что угодно... и я никогда не смогу зайти сюда, хоть буду жить поблизости: здесь поселятся чужие люди. В их Доме, где на антресолях, оказывается, зачем-то хранятся детские ползунки. Чисто выстиранные и начисто забытые. Кому могут понадобиться ползунки? Проще всего выбросить или пустить на тряпки. Зачем держала?.. На всякий случай: а вдруг опять понадобятся. Неожиданно заинтересовалась Лилька:

— М-м... Давай я заберу, ты не против?

— А, так ты?..

Разговор оживился; новость перекурили («мне пока можно, скоро брошу»), и только после Лилькиного ухода Валентина вернулась к вещам.

...Старинная настольная лампа без абажура, на изогнутой латунной ножке, которую сама когда-то нашла в комиссионке. Никто не соблазнился как раз из-за отсутствия абажура. Породистая лампа, но тяжелая, как гиря; она с трудом дотащила до дому. Была идея купить абажур или даже сочинить самой, из какого-нибудь веселого ситчика. Просматривала рубрики «Своими руками» в Галиной «Работнице», но работницы делали своими руками что-то другое — то накидки на подушки, то загадочную вышивку-мережку, то салат «если гости на пороге». Работницы не интересовались инвалидными лампами. Она переедет на новую квартиру, где наконец обретет абажур. ...О! Что в этом пакете? Большой, мягкий, вялый... Пыльный узел затвердел, и Валентина разрежала пакет, из которого лениво, словно разминаясь, начала вспухать подушка; вот тете Софе и пригодится.

...Пустая и безмолвная, только что отремонтированная новая квартира сама диктовала, что куда требуется поставить, чтобы превратить ее в жилье — о Доме пока говорить не приходилось. Дети с восторгом носились по комнатам, хлопали дверьми, прятались за неразобранными вещами.

Со дня на день Иннокентий Семенович должен был опять отправиться в Ленинград и вернуться вместе с теткой. За последние месяцы Валентина настолько сжилась с обликом петербургской старушки, что, казалось, могла бы узнать ее в толпе на перроне. Вот тетя Софа, крепко держась за поручень, опасно спускается по ступенькам из вагона, неуверенно озирается, потому что не знает, что ждет ее в этом незнакомом городе. На ней то же старое пальтецо, только вместо осеннего берета на голове вязаный платок. Или — нет, не платок: меховая шапочка; котиковая, какие раньше носили. В руках у нее не авоська, конечно же, а дамская сумка — когда-то лаковая, модная, сейчас — допотопная, потускневшая, металлические челюсти замка сомкнуты намертво, но тетя Софа несколько раз проверяла, в сохранности ли документы...

Незадолго до появления тети прибыла мебель: глубокий массивный шкаф, тяжелые стулья с кожаными сиденьями, громоздкий буфет. Мебель, идеально подходившая для гостиной Собакевича, но совершенно несовместимая со старенькой петербургской интеллигенткой. «Это нам?» — испуганно спросил младший сынишка. «Нет, — успокоила его Валентина, — это тетина мебель. Которая будет с нами жить». И тетя, добавила про себя, и мебель.

Ее продолжали вносить — угрюмую, тяжелую, темную, — и вместе с ней в квартиру вползал густой сложный запах — мастики, затхлости, нафталина.

— Я сколько раз ей говорил: оставьте, говорю, ваше старье, купим все что нужно! — гремел Иннокентий Семенович на кухне, где четверо «грузчиков» — он, Лилькин муж и Павел с другом Валерой — ужинали. — Барахло, рухлядь! А Софа — ни в какую: привыкла, говорит.

И повернулся к невестке:

— Добавки можно? Мне только гарнир, курицу не клади: хорошенького понемножку.

Кеша никогда не скажет нормально: картошка или гречка; только «гарнир».

Ответить она не успела, да Кеша и не ждал ответа. Торопливо съел пюре и первым поднялся из-за стола.

8

Из всего, что Валентина представляла себе перед встречей с петербургской тетей: приветливые лучистые глаза, седина, скромный берет, — сбылся только кружевной платочек в руке. Растроганная встречей, тетя часто подносила его к глазам. Иннокентий Семенович суетился в прихожей, пытаясь водрузить на плечики нечто черное, тяжелое и громоздкое вместо ветхого лицованного пальтеца. На голове у тетушки было тоже что-то черное, замотанное сверху светлым вязаным не то шарфом, не то платком. Освобожденная от заснеженной верхней одежды — на улице мела пурга, — тетя Софа предстала высокой, жилистой и крепкой старухой с густо набеленным лицом, накрашенными бровями и губами и черными волосами с яркими оранжевыми пятнами. Прежде чем Валентина пришла в себя, не по-женски сильные руки притянули ее за плечи и ткнули лицом в напудренную щеку; дыхание перехва-

тило от удушливой волны «Красной Москвы» и того запаха, который вселился в квартиру вместе с теткиной мебелью. Так же внезапно старуха ее отпустила, прижав к лицу платочек.

Эта пылкость окончательно смутила Валентину. Петербургская старушка, так часто видевшаяся ей, только несмело и растроганно улыбалась. Улыбнулась и тетя Софа, явив на секунду чудо — то ли природы, то ли протезирования.

— Познакомьтесь наконец-то! — гремел Иннокентий Семенович. — Моя тетка, Софья Николаевна. А это Валентина, Валя — жена Павлика. Невестка моя.

— Где дети? Где Павлик?

Это были первые слова новообращенной родственницы.

Человек не выбирает себе голос, не то все говорили бы нежно и мелодично. Когда я доживу до такого возраста, тоже буду каркать, урезонивала себя Валентина. В этот момент чайник, умница, засвистел на всю кухню.

Пока Иннокентий Семенович без устали хлопал дверцами: «Вот эти шкафчики ваши, Софья Николаевна, будете ставить посуду, миски там, я знаю... кастрюли...», Валентина ловко расставила чашки и порезала запеканку.

— Где ваш аппарат? — орал Иннокентий Семенович. — Аппарат ваш, спрашиваю, где?

И тыкал себе в уши для наглядности; на него было жалко смотреть.

Тетка и не смотрела — она с интересом оглядывала прихожую.

— Вот! Двери прочные, и засов, и цепочка. На обеих, — Иннокентий Семенович показывал, как легко ходит тяжелый засов. Одобрительно кивнув, Софья Николаевна двинулась на кухню. Взгляд ее остановился на балконной двери.

— Балкон это, балкон! — обрадовался свекор.

— Зачем? — строго спросила Софья Николаевна, повернувшись к балконной двери.

— Балкон, говорю, — громко повторил Иннокентий Семенович и вдруг рывкнул изо всех сил: — Софа!..

...Так и стали называть ее: «Софа», по негласному уговору опустив отчество. Слово «тетя» тоже не прижилось. Во-первых, пока выговоришь имя с отчеством, его обладательница, не расслышав, уйдет и захлопнет дверь — слуховой аппарат имелся, но лежал в комнате на столе. Во-вторых — и в-главных — ни для кого, включая племянника Кешу, Софа не стала тетей, поскольку не обладала ни одним из свойств, заключенных в мягком, тетешкающем слове. К тете можно подойти, прижаться к плечу, обнять, когда всем не до тебя, — тетя погладит по голове, улыбнется, скажет что-то теплое.

Мальчишки довольно быстро переняли родительскую манеру и пропускали слово «тетя», говоря о Софе. Валентина с Павликом сначала их строго поправляли, потом стали забывать, потом забыли сами, что поправляли...

Софа осталась Софой.

За короткое время Софа — быстрее, чем Валентина, — привыкла к новой квартире. Она властно дирижировала, как следует переставить уже водруженную мебель, и Павел с отцом и безотказным Валеркой послушно выполняли громкие гортанные команды, подкрепленные решительными жестами.

— Пррошу! Посмотрррите! — властно пригласила Софа, щедро раскатывая «р».

Валентина вошла в преобразившуюся комнату. Темные тяжелые шторы, которые свекор, чертыхаясь, долго вешал, скрывали свет. Он упорно пробивался в узкие щели, наты-

каясь на мощное сопротивление темно-коричневой мебели, толстого ковра на полу и самой хозяйки — Софа ревниво задерживала щелки, наводя душный нафталиновый сумрак. И все же нельзя было не заметить два больших портрета на стене. Первый изображал пожилого лысого мужчину с овечьим лицом, повернутым в сторону второго портрета, откуда на него требовательно и возмущенно смотрела красавица в темном открытом платье и с затейливо уложенными черными локонами. «Кто это?» — простодушно воскликнула Валентина, но Софа подняла к портрету мужчины скорбный взгляд и поднесла к лицу кружевной платок. Муж, сообразила Валентина, и сразу же стало ясно, кто на втором портрете, хотя сегодняшняя Софа ничем не напоминала красавицу, некогда очаровавшую мужчину с овечьим лицом. А Софа стояла, промокая сухие глаза кружевным платочком, без которого никто ее никогда не видел. Платочек то находился в кулаке, то бывал засунут в рукав, если тетка стояла у плиты, но ни разу не случилось, чтобы Софа разлучалась с мятым кружевным комком; никогда.

Весну почти не заметили — она прошла где-то снаружи. Внутри квартиры шел непрерывный процесс притирания и привыкания всей семьи к петербургской тетушке. Сама она нимало не была озабочена ни тем ни другим.

— Что понятно, — пытался объяснить Павел. — Она приехала жить, понимаешь? Просто жить. У себя в Питере она свободно ходила из комнаты в комнату, так почему она должна стучаться к тебе?

— Потому что я к ней без стука не вхожу. И ты не входишь. И в Питере она жила в коммуналке, — напоминала Валентина. — Вряд ли соседу нравилось, если она свободно заходила к нему.

— Да что мы знаем про ее соседа? И потом, она вырвалась из коммуналки, приехала в семью, к нам... Что тебя смущает?

— ...что, например, она впиливается без стука, когда ты уже спишь, а я читаю в постели. Тебя не смущает?

— Но я же сплю, ты говоришь, — с облегчением смеялся муж. И добавлял озадаченно: — На фига впиливается-то?

— Спросить, зачем горит свет в прихожей...

— Ну так объясни! Чего проще? А то ты как будто хочешь сделать из нашей квартиры коммуналку...

Разговоры никуда не вели, ничего не меняли. Никакие объяснения не помогали, хотя Софе много раз говорили, что свет в прихожей гасить не надо — горит, чтобы Владик не боялся ходить в туалет. И какое ей дело, казалось бы: свет не мешает ей спать — ее комната отделена тремя дверями. Точно так же бесполезно было объяснять, что тяжелые засовы на дверях не нужно задвигать каждый вечер; тетка недоверчиво кивала, но перед сном устраивала рейд от одной двери к другой, иногда по нескольку раз, и продолжала лязгать железными болтами. Снять их, что ли, к чертовой матери, нерешительно думал Павлик, но почему-то не снимал.

Софа приехала в семью — и вместе с ней приехала коммуналка. Вначале казалось, что ничего не поменялось — они вчетвером сидят на кухне за столом и говорят о чем угодно; но заходит Софа — и все замолкают, как по команде, и несколько минут висит напряженная пауза.

— Пррприятного аппетита! — гремела наконец команда, и Софа поворачивалась к раковине, спиной к ним. Она не обращала на сидящих никакого внимания, занималась своими делами, но что-то мешало возобновить разговор.

Он завязывался через какое-то время, но тек уже не так свободно, как до появления тетки. Повисала напряженность. Дети замолкали, Павел напряженно улыбался. Валентина механически начинала собирать посуду, зачем-то стараясь не стучать.

Павел всегда находил какое-то вывернутое объяснение происходящему. По лицу, по глазам его было видно, что все понимает, но говорит совсем другие, искусственные слова. Так учат иностранный язык: смотрят учителю в глаза, кивают, а на прямой вопрос ответить не могут.

Весна промелькнула сплошным перезвоном посуды, гулом голосов: в честь переезда тетки старшие Спиваковы часто собирали гостей. Это происходило по выходным, и к вечеру воскресенья ноги у Валентины гудели от топтанья на кухне рядом со свекровью. «Ты сделаешь тот салатик с яблоками?» Устраниться было невозможно: Галине Сергеевне было намного тяжелей. Что за каторгу придумывают себе люди, думала Валентина под плеск воды. Посуда громоздилась в раковине, на буфете, и какая-то малознакомая гостья, стуча каблуками, несла стопку грязных чашек. В понедельник утром можно было поваляться в постели подольше — библиотечный день. Однако понедельник начинался так же, как все другие дни: громко стучали двери, что-то с грохотом падало на кухне, каркающий голос долбил голову: «Горел, горрел! В прихожей горел, в уборрррной горел, я потушила». Было слышно, как Павлик раздраженно отвечает, тоже повышая голос: «Не надо выключать, пускай горит!» Он осторожно затворял дверь, перекрывая рокошующий Софин голос, и скучное продолжение диалога включалось прямо у Валентины в голове:

«Горрит... Говоррила... доррого...»

«Какая разница, вам это ничего не стоит!»

«Я говорю, доррого!..»

Приходилось вставать. Что, теперь так будет всегда?

Нет — иногда бывало иначе. Каким-то чудом удавалось выждать паузу — и задремать, натянув на голову толстое одеяло. Могло пройти полчаса блаженной лени, могло больше, но пробуждение было неизменно пугающим: жесткая рука трясла за плечо, громкий голос кричал: «Вы пррспали!»

— Как же, дадите вы проспять, — бормотала Валентина, накидывая халат. — О, черт...

— Громче! — Софа напряженно сдвигала брови, — я не слышу!

Отгороженная своей глухотой от окружающего мира, старуха была уверена, что мир так же надежно защищен от звуков, производимых ею. Никакой старческой беспомощности в ней не было: без одышки поднималась по лестнице на второй этаж, сама покупала себе продукты, громко критикуя окрестные магазины. «В Ленинграде хлеб лучше, — укоризненно сообщала она Валентине, швыряя на стол авоську с батоном — авоську, которую Валентина видела в ее руках, еще не зная обладательницы. — Совсем другой вкус». В монологе выяснялось, что в Ленинграде все было лучше: масло, колбаса, конфеты... Магазинную сдачу пересчитывала дважды — не родилась еще та продавщица, которая обсчитала бы Софу хоть на пятак. Тем не менее всегда пересчитывала, бормоча вполголоса: «Марродеры... Рруп четьырнц... Марродеры...»

День ее подчинялся шаблону, сложившемуся в незапятнанные времена, и можно было не сомневаться, что в Ленинграде жизнь ее мало чем отличалась. Она вставала, обильно и подробно завтракала, шла в магазин. Вернувшись, готовила обед из трех блюд — и отдавала ему долж-

ное; затем ложилась отдохнуть. Наступление вечера отмечалось телевизором, включаемым на полную мощность. Ужин неизменно отдавала врагу, ограничиваясь стаканом чая с пустяковым бутербродом или печеньем. Возможно, благодаря такому режиму не потолстела и не обрюзгла, пройдя все положенные возрастные вехи, ни в чем себя не ограничивая. Зачем?..

Как и день, теткина неделя строилась по шаблону. Центром, вокруг которого вращался каждый день, являлась еда. В понедельник она варила борщ и жарила котлеты. Вентилятор над плитой никогда не включала — чад ей несколько не мешал. Вторник посвящался уборке. Пылесос не признавала — вместо него пользовалась старой шваброй, привезенной из Ленинграда, которую обматывала мягкой тряпкой. Проехавшись несколько раз по своей комнате, Софа снимала тряпку, выходила на лестницу и королевским жестом стряхивала в проем пыльные лохмы. Среда проходила под знаком курицы: в продолговатом закопченном чугуне томилась обезглавленная тушка, а требуха с отсеченной головой и лапками шли на бульон. Он готовился на три дня и заправлялся каждый следующий день по-разному: то рисом, то клецками, то вермишелью. Если курица съедалась раньше бульона, тетя жарила блинчики. Была одна постоянная составляющая каждого дня: компот из сухофруктов, густой и непроглядно темный. Меню время от времени варьировалось: голубцы вместо котлет или жаркое и суп с фрикадельками, если не удавалось добыть курицу.

— Надо рыбу кушать! — громко агитировал Иннокентий Семенович — он приходил к тетке в обеденный перерыв. — Почему вы не готовите рыбу?

— Зачем?

— Как зачем? Это полезно!

— Кушай куру!

Каким бы разнообразием ни отличались эти обеды, недельная рутина оставалась неизменной. По пятницам обед не готовился — это был «баный день», раз навсегда назначенный таковым, как суббота — днем стирки.

В пятницу Софа складывала на табуретку в ванной стопку белья, рядом клала новый кусок мыла, после чего извлекала откуда-то плоскую серую мочалку, похожую на гигантскую разлохмаченную подметку с петлями на концах. Еще не зная теткинoго графика, Валентина научила ее регулировать и переключать воду. Та понятиливо кивнула и вечером гордо сообщила, что «купалась».

Суббота начиналась с громкого лязга — Софа вытаскивала из-под ванны таз, стирала белье и развешивала на балконе. Все это она проделывала очень быстро, чтобы перейти к основному действию — приготовлению обеда.

В один из теткиных банных дней Валентине случилось оказаться дома — Владик температурил. Он возился на кровати с кубиками, когда распахнулась дверь, и Софа торжественно объявила с порога, что сегодня пятница.

Валентина пришивала пуговицу к детским штанишкам и подняла голову, ожидая продолжения. Вместо этого тетя молча протянула свою мочалку.

— Спину, — пояснила лаконично. — Спину мыть.

— Угу, — кивнула Валентина, — удобно. — Больше сказать было нечего.

Софа не уходила.

— Я говорю, удобно! — повторила Валентина громче.

Было слышно, как льется вода в ванной.

— Порра! — раздался гортанный голос. — Идемте! Вы будете мыть мне спину.

Не просьба, не вопрос, не приглашение — это была констатация вот-вот грядущего факта, такая уверенная, что Валентина встала и покорно поплелась в ванную. Там щедро бьющая из кранов вода почти дошла до краев. Она закрутила краны и спустила лишнюю воду. Было душно, кафель и окно слезились от пара. Пар окутывал силуэт старухи, которая совала ей мочалку.

— Ма-а-м!.. — донеслось из детской.

А как она мылась в Ленинграде? Длинные серые лямки насмешливо раскачивались из стороны в сторону, словно дразнили. В голове внезапно прояснилось. Да так и мылась, вот же мочалка у нее! Стало смешно и досадно, что все бросила и потащилась сюда. Валентина вытерла вспотевшее лицо.

— Простите, меня Владик зовет.

И вышла, прикрыв дверь.

Никакой ностальгии по Ленинграду в Софе не чувствовалось — он упоминался только, когда касалось продуктов. Город, в который она переехала, не вызывал у нее ни малейшего интереса. Спиваковы приглашали ее «погулять по центру, там очень красиво». Софа громко возмутилась: «Зачем?» — «Пройдемся по городу, — растерялась Галина Сергеевна, — воздухом подышите... В парке посидим...»

То же «зачем», тем же голосом. Гулять она не любила и никуда не выходила — только в магазин.

— У нас музеи замечательные, — вступила Валентина. — Вы, наверное, по Русскому музею скучаете, хотели бы в Эрмитаж...

Та застыла, подняв брови.

— Валентина говорит, вы...

Иннокентий Семенович прокричал ей в ухо все сказанное.

— Какой *этаж*? — не понимала Софа. — Куда?

— Триста лет ей этот Эрмитаж не нужен, — устало бросил Иннокентий Семенович. — И там никуда не ходила, кроме своего гастронома да поликлиники, и тут не пойдет.

Беспощадная реальность заслонила романтические фантазии: мало того что Софа не была *старушкой* — невозможно было так назвать эту жесткую деревянную старуху, — но и петербургской она не была тоже — разве что ленинградской, в соответствии с пропиской послевоенного времени.

— А раньше? — спросил Павлик.

Отец объяснил, что «раньше», при жизни мужа, жили они то в одном, то в другом городе в зависимости от того, куда направляли человека с овечьим лицом, видного специалиста в какой-то важной отрасли промышленности. Сама же Софа нигде не работала.

— Зачем? — Иннокентий Семенович невольно спародировал тетку. — Зарабатывал он прилично, жили они хорошо. Сейчас ей трудно: какая там ее пенсия, копейки. В молодости она красавица была, дядьке все завидовали. Сама-то она мне, так сказать, по наследству досталась, как дядькина жена, — пояснил он для Валентины. — Не бросать же человека, надо было помочь.

И подошла очередная суббота с походом в гости. «Приходите на чай, — позвонила свекровь, — я твоих родителей пригласила...»

Собиралась Софа по-солдатски быстро: щедро пудрилась и решительно рисовала брови, красила губы. Впрочем, это не было чем-то особенным, а проделывалось вся-

кий раз перед выходом из дому. К ее темному, как старое дерево, морщинистому лицу не подходила светлая пудра; воротнику платья тоже доставалась белая пыльца, брови выходили неровными, как и рот в слишком яркой помаде. Грубо накрашенная, она становилась похожа на мумию с густым запахом «Красной Москвы».

За столом Софа сидела прямо, без интереса глядя на гостей, и быстро поглощала еду, кидая куски в рот, как и дома. Поймав чей-то взгляд, улыбалась и величественно кивала; в разговоре не участвовала. Гости — сотрудники Иннокентия Семеновича, друзья семьи — оживленно переговаривались:

— Сколько ей, восемьдесят два?

— Невероятно!

— Разве что морщины, а так...

— Муж умер...

— Дай бог нам всем...

— Родных у нее никого...

— Иннокентий молодец, это не всякий сын...

— Глуха как тетерев.

— А что морщины, в эти годы, что?

— На Невском, около Литейного. Потолки...

— Ни сердца, ни давления...

— Сколько, восемьдесят два?!

— Детей не было...

— Муж умер, говорю...

— Моей теще с нее пример брать!

— А муж от чего умер?

— Ваше здоровье, Софья Николаевна! — тянулся кто-то с рюмкой.

— За вас пьют! — орал Иннокентий Семенович, склоняясь к Софиному уху. — За ваше, слышите, здоровье тост!

Она сверкала белыми зубами, рокотала что-то невнятное в ответ, бодро вздымала рюмку.

Родители Валентины приходили, когда совсем уж нежливо было отказаться. Марина садилась в дальнем конце стола и часто выходила в кабинет к телефону («мне позвонить...») или на кухню. Мудрей всех поступал Дмитрий: поговорив несколько минут со сватами, сгребал «орлов» в охапку и уводил гулять. Когда он был на дежурстве, то же самое делала Марина. Первого знакомства с Софой ей хватило, углублять не было надобности. С дочерью «петербургский реликт» не обсуждали, да и зачем? Обоим ясно было, что гуманный замысел Спивакова потерпел фиаско. Вернее, один из зайцев был убит: тетюшку перевезли, водворили и обустроили с минимальными потерями: рекламации на то, что в Ленинграде места в квартире было больше, а продукты в магазинах лучше, высказывались регулярно. Ну, да там лучше, где нас нет.

Все это накаленная Марина выложила мужу, когда в очередной раз возвращались от Спиваковых.

— Иннокентию тоже нелегко, — примирительно заметил тот. — С обменом бегал, как одержимый, потом в Ленинграде... Он тоже не мальчик, ему за шестьдесят. Или почти шестьдесят?..

Мужская солидарность, молча удивилась Марина.

— Посмотри с другой кочки, — продолжал муж. — Она прожила жизнь, о которой мы ничего не знаем, и в свои... сколько ей, восемьдесят два? — ей не с кем будет познакомиться, когда срок придет. Иннокентий...

— Да Софа ему не тетка вовсе! Жена покойного дядюшки. Ну... вдова то есть.

— Зато дядюшка был ему *кто*. Заменял родителей, поставил на ноги. Такое не забывается; долг платежом красен. А потому Софа для него — тетка, самая что ни на есть тетушка, хоть временами раздражает.

— Да на здоровье! — выкрикнула Марина, и шедшая впереди них пара обернулась. — Для него — приемная тетка, но Валюшке за что такое счастье?

— Незлегантно получилось, — согласился муж, — но ведь он не намеренно?.. Рассчитывал на совместимость. Иннокентий любит, чтобы перспектива была четкая... У тебя ключ далеко?

9

Морковка, лук, лохматый кочан капусты в Софиной авоське соседствовали с белым батоном и пачкой сахара либо масла. Сахар она сыпала в чай десертной ложкой, щедро черпая его из емкой сахарницы. За столом сидела, широко расставив ноги для устойчивости — не доверяла субтильным трехногим табуреткам. Когда Валентина работала дома, ей случалось часто наблюдать Софину обильную трапезу. Поскольку тетка упорно не надевала слуховой аппарат, приятной застольной беседы не получалось; ограничивались улыбками, как иностранцы. Все коммуникации сводились к нескольким темам.

— Что вам купить, я в магазин иду? — спрашивала Валентина.

Выяснялось, что «все есть, ничего не надо». Либо что-то было нужно, «но в вашем магазине все равно нет, вот у нас в Ленинграде...»

— В Ленинград не поеду, — твердо говорила Валентина, — зато буду в центре, могу посмотреть.

Речь могла идти о таком раритете, как нерафинированное подсолнечное масло или персоль — все это без труда можно было купить в бакалее на углу. Софа прочувствованно благодарила, скрупулезно, несмотря на протесты, отсчитывала деньги, всегда добавляя: «Я не люблю быть должной». После этого она пристально рассматривала на свет мутную бутылку с маслом, отдирала пробку, нюхала зачем-то, хотя была полностью лишена не только слуха, но и обоняния. Вердикт был всегда одинаков:

— Плохое масло!..

То же самое могло относиться к рису, сардинкам, укропу, свекле — все, решительно все было не таким, как «у нас в Ленинграде».

В первое время Валентина волновалась: проверяла срок годности, убеждала, что нерафинированное масло всегда с осадком как раз потому, что нерафинированное... Когда же выявилась истинная причина недостатков, она вздохнула с облегчением.

Та же участь постигла Галину Сергеевну, которая выставала длинные очереди, покупая на Софину долю продукты, — все купленное неизменно вызывало разочарование, хотя принималось с кротким смирением. Не то, не то...

Ежедневный вопрос «Как вы себя чувствуете?» носил чисто светский характер — Софино состояние не внушало тревоги, — однако тетя долго и скорбно медлила с ответом. Потом, словно внезапно решив открыть страшную правду, кричала:

— Плохо! Совсем плохо!..

На испуганное: «Что такое? В чем дело?» прижимала руку ко лбу.

— ...Всю ночь не спала. Меня качает... — и хваталась за кухонный шкафчик, в котором начинала тревожно звенеть посуда.

Участковый врач очень внимательно отнеслась к новой больной: в восемьдесят два года с головокружением не шутят. Были назначены анализы и необходимые обследования.

Провожая Софу в поликлинику, Павел оказывался невольным свидетелем того, как тетя, только что без труда преодолев два квартала в гору, вдруг слабела, хваталась рукой за стену и бессильно опускалась на торопливо подсунутый стул. Откидывалась на спинку и сидела, не шевелясь и прикрыв глаза рукой. Очередь в поликлинике — сплоченный, закаленный в ожидании коллектив — неожиданно давала слабину. Вначале чей-то голос нерешительно предлагал «пропустить старуху», ему возражали: «Вот вы в свою очередь и пропускайте», но вялые протесты малопомалу стихали — великодушные перевешивало. Софа подносила к глазам кружевной платочек, обводила сидящих затуманенным взглядом и... шла в открывшуюся дверь. Из кабинета доносились отдельные звуки. Скоро становился слышен скрипучий требовательный голос и громкие восклицания. Потом снова открывалась дверь, и Софа выходила — Павел едва успевал подхватить ее под локоть. На улице она высвобождала руку и, помахав ему на прощанье, молодцеватым шагом возвращалась домой.

— Самая здоровая больная на моем участке, — объявила пришедшая на дом терапевт. — Мне бы, в мои сорок семь, такие сосуды и такое сердце, как у вашей тетушки... Гренадер, — добавила вполголоса.

Еще раз недоуменно перелистала записи в карточке и сообщила Валентине:

— Всех нас переживет.

Потом повернулась к самой здоровой больной и крикнула:

— Я вам новый слуховой аппарат выпишу!

Софа осталась недовольна. Нет, докторша никуда не пошла. То ли дело «у нас в Ленинграде...»

— Я говорю: голова кружится!

Круу... круу... Как плотно ни закрывай дверь, все слышно. Валентина захлопнула журнал и вышла на кухню. Иннокентий Семенович, заглянувший проведать тетку, сидел над тарелкой с супом.

— Что вам врач сказала? — крикнул он.

Софа безнадежно махнула рукой:

— Плохая докторша! Говорила: «Пейте кофе».

— Так пейте!.. У вас что, кофе нет?

— Куда?

— Кофе! Кофе, говорю, пейте!..

— У меня *сэррдце*! — укоризненно рокотала она.

— *Сэррдце*, тебе не хочется покоя... — начинал Иннокентий Семенович, отодвигая тарелку, но допеть не удавалось.

— Какое? — тревожно кричала Софа. — Какое у тебя *сердце*?..

Вскоре появился новый слуховой аппарат — и с печальной быстротой разделил судьбу предшественника: когда Иннокентий Семенович, охрипнув от крика, заставлял тетку надеть его, та кивала, слушалась, но после его ухода с досадой выдергивала тонкий инструмент и отбрасывала, как оторванную пуговицу.

— Что вы делаете? — не выдержал Павел.

— Он мне мешает, — последовал ответ.

Всем остальным мешал телевизор в Софиной комнате, включаемый на полную громкость. Только Валентина уса-

живалась в детской и раскрывала книжку, как из дальней комнаты неся оглушительный голос диктора: «Сегодня в Центральном комитете КПСС прошла встреча с руководителями средств массовой информации. Присутствовали представители творческих союзов. Михаил Сергеевич Горбачев призвал собравшихся нанести поражение тормозящим факторам перестройки...» После долгих, громких и бесполезных уговоров Павел нашел блестящий выход: раздобыл наушники.

Наступило счастье вечерней тишины, нарушаемой только свистом чайника, звуком льющейся воды и негромким разговором. Как ни странно, он тоже крутился вокруг Софы: театр одного актера в поликлинике, постоянные обиды на «не те» продукты, слуховой аппарат, будь он неладен... Иногда заходили друзья, но это случалось все реже. Думать, что это связано с теткой, было слишком абсурдно — у всех дела, в конце концов, как уверял себя Павел.

Они по-прежнему редко выходили вдвоем: мечты Иннокентия Семеновича оставлять «орлов» на тетку развеялись как дым. Одной попытки хватило, чтобы в этом убедиться.

...Вернувшись из гостей, Павел с Валентиной застали мальчиков на своем диване перед включенным телевизором. В тетиной комнате было темно, дверь закрыта: она спала.

— В конце концов, я не вижу никакой трагедии, — под раздражением Павел скрывал растерянность. — Ну, не захотели смотреть телик у нее, вот она и включила наш. Раз в жизни могут лечь поздно. В конце концов.

На следующий день выяснилось, что у Софы кружилась голова: «у меня *сэрдце*». Водрузив обоих мальчуганов у себя на кровати, она поставила им вазочку с конфетами

и включила телевизор. Опустошив вазочку, оба тихонько сползли с монументального ложа и пошли в детскую. Владик объяснил: «Жарко там». «Скучно», — добавил Ромка. Что было понятно: Софа никогда не открывала окон, а навязчивый аромат «Красной Москвы» вперемешку с нафталином, как и все остальные запахи, просто не чувствовалась.

— Могла бы посидеть с ними в детской, — буркнул Павел, когда мальчиков уложили. — Трудно было занять их, что ли?..

Больше детей с теткой не оставляли, хоть она предлагала неоднократно.

Мы сами виноваты, думала Валентина. Для Софы «занять» мальчишек было не трудно, а попросту невозможно, и не только из-за глухоты, но и от полного отсутствия навыка. Она не знает, как общаться с детьми, потому и сделала самое простое: накормила конфетами, усадила перед телевизором. Хлеба и зрелищ.

— Дети хорошо себя вели! — уверяла Софа на следующий день.

Она совала в мясорубку куски говядины, плотно утрамбовывая их рукой, а второй крутила ручку. Сейчас она... пальцы. Валентина отвернулась.

— Мне ребенка загубили, — неожиданно произнесла Софа.

Валентина протянула руку к вешалке, собираясь уходить, но остановилась как вкопанная. Софа подхватила горсть фарша и плюхнула в миску.

— Доктора загубили, — продолжала, не поднимая глаз. Потом коротко взглянула на застывшую Валентину и взмахнула рукой, роняя красные ошметки. — Я беременная была. Вредители. Загубили, — повторила упрямо.

Выкидывш, наверное, пронеслось в голове; или недоношенный был.

— В Ленинграде? — спросила.

— Зачем? — возмутилась Софа. — Мы тогда жили в...

И назвала город — Новороссийск или Новокубанск, где-то на юге. Валентина не могла сконцентрироваться на городе — перед глазами маячило неподвижное съезжившееся тельце, в ушах вязли слова: *загубили, ребенок, вредители.*

В отличие от других стариков, любящих перебирать воспоминания молодости, Софа ничего о себе не рассказывала. Когда говорила о муже, то называла курорты, где они отдыхали, всегда в контексте еды.

— Что за масло? — громко негодовала она, намазывая буту. — Разве это масло? Марродерры... Вот когда мы с Архип Данилычем ездили в Гагры, нам подавали *масло!*

Такое же исключительное масло (мясо, «курру», «икрру») подавали в Адлере, Гурзуфе и на всех остальных курортах, где им случалось отдыхать.

Итак, мужчину с овечьим лицом звали Архипом Даниловичем. Валентина пыталась представить себе жизнь этой пары — сначала в Новороссийске (Новокубанске?..), потом в переездах из одного города в другой, куда партия отправляла ценного Архипа Даниловича на очередной прорыв, после чего награждала путевкой на курорт. О чем они разговаривали, не о масле же? Чем они жили, не только ведь высокими потолками на Невском да курортными яствами? Архип Данилович представлялся почему-то безмолвным. *Архип осип, Осип охрип.* Архип осип и охрип от постоянного крика, потому и молчал. Или не молчал? Разве Софа всегда была глуха?

— Нет, глухота у нее чисто возрастная, стареская, — снисходительно пояснил Иннокентий Семенович. — А дядь-

ке моему с ней было нелегко, должен тебе сказать. Да ты сама видишь.

Он зашел, как часто заглядывал после работы, но неудачно: Софа еще не встала после дневного сна. Согласился выпить чаю; пока Валентина хлопотала, продолжал негромко говорить о «дяде Арике», как он ласково называл Архипа Даниловича.

— Его начальство ценило, безотказный был; а голова!.. — Свекор уважительно постучал себя по лбу. — Самый захудалый завод вытаскивал и делал передовым — рационализация тут, сокращение там. Он умел фонды беречь, его наверху знали, — Иннокентий Семенович красноречиво возвел глаза к потолку. — Безо всякой перестройки, между прочим, — заметил многозначительно. — Сейчас ему цены бы не было, поверь мне. Награждали его, чествовали. Ценили и то, что дядька охотно в командировки ездил, не как другие семейные; ну и бабы к нему липли, как я не знаю кто. Не удивляйся, не удивляйся, — хохотнул Иннокентий Семенович, — орел был мой дядька, на него такие красотки вешались! — Он с завистливым восхищением покрутил головой.

Архип Данилович, обладатель овечьего лица, обростал пикантными подробностями.

Время от времени Иннокентий пускался в откровения. Если присутствовала жена, то неодобрительно хмурилась и переводила разговор на другое.

— Но ведь Софа была красавица, — заметила Валентина, — что ж он так?..

— Красавица была, — подтвердил свекор и прицокнул языком, — на улице оборачивались. Он гордился; держал ее, как куколку, ни в чем не отказывал — крепдешины-файдешины, чего только душа пожелает. Красавица, да... Так

ведь характер какой, его же вынести надо! Дядька молчал, с ней не спорил; утешался как умел.

Дядя Арик и впрямь оказался молчуном. Трудно сказать, что бы еще вспомнил его словоохотливый племянник, если бы не грохнула распахнувшаяся дверь и Софа не появилась на пороге.

— Вот, о вас говорим! — ничуть не растерявшись, гаркнул Иннокентий Семенович.

— А?.. — насторожилась та.

— Я рассказывал про Архипа Данилыча, как вы с ним жили. Валентина говорит, она такая красавица была. Про вас говорит «красавица», про вас! — орал он. — А я говорю, не только красавица, но и хозяйка дай бог каждому!

Подивившись изворотливости свекра, Валентина продолжала думать об этой непонятной жизни двоих людей. Одного больше нет, он остался в памяти — и портретом на стене. Племянник до сих пор восхищается, каким ловким бабником был покойный; вдова заботливо обметает пыль с портрета, но скорбит не о нем, а о курортах на юге, где они вместе бывали. Или каждый ценит любовь по своей шкале? Тогда блестящая деловая хватка и прелестницы для «утешения» вполне уравниваются «крепдешинами-файдешинами» и санаториями, где «такое масло, такое масло», что оно до сих пор не забыто.

Только разве это могло ей заменить ребенка, так и не родившегося? Валентина невольно посмотрела в сторону детской. Почему «врачи загубили»? «Вредители»... Но в начале 50-х тетке самой было под пятьдесят! Какая там уж беременность, какой ребенок... Спрашивать у свекрови не хотелось: несколько слов, оброненных старухой, вряд ли предназначались для дискуссии. Проще было допустить, что разные события в теткиной памяти сместились во вре-

мени: собственная трагедия, происшедшая в молодости, каким-то образом сомкнулась с «делом врачей» — трагедией всей страны, которая разразилась двумя или тремя десятилетиями позже. Много ли тогда знали о резус-факторе? Ладно Софа — медики не знали; они и оказались виноваты...

10

Всю суетную, турбулентную весну лето виделось долгожданным оазисом. Детей отправляли с детским садом на взморье. Павел с отцом затеяли ремонт на даче — в выходные мальчиков решено было привозить Спиваковым. Валентина заранее предчувствовала пустой машинный зал: все рвутся в отпуск, можно будет спокойно гонять и отлаживать программу.

— Ты будешь мой цветок поливать? — озабоченно спросила Лилька. Она уходила в декретный отпуск.

— Естественно, — пробормотала Валентина. — Подожди, вместе выйдем.

— А мне гулять до конца августа. Как я в таком виде в купальник влезу? — Она развела руки, выпятив крепкий, похожий на дыню, животик.

— А почему бы нет?

— Ну не знаю... Неудобно как-то.

— Пока налезает купальник, удобно, — Валентина решительно поднялась. — Я купалась — и ничего.

Они шли через парк, залитый солнцем.

— Как поживает ваш крокодильчик? — благодушно спросила Лилька. — Сто лет ее не видела.

— Зайдем — повидеешь.

— Нет уж, спасибо; не соскучилась. В тот раз, когда — помнишь? — мы ей волосы предлагали покрасить, я так накричалась — думала, выкидыш случится, тьфу-тьфу.

...В тот раз Лилька притащила хну с басмой. Под недовольные Софины «зачем?» опытная Лилька быстро намешала гнусного вида кашицу, с которой они к ней и подступили. В два голоса пытались объяснить, что процедура безвредна — наоборот, «у вас волосы станут здоровей!», — но старуха была непреклонна.

— Зачем? — негодовала она. — У меня есть краска, с Ленинграда привезла!

Извлекла откуда-то и показала захватанную темную бутылочку. Потом, по-прежнему недовольная, вышла из ванной, громче обыкновенного хлопнув дверью.

— Ну и не надо, пусть ходит такой... ромашкой, — Лилька опустила на табуретку.

Действительно, теткина голова была похожа на гротескную ромашку — белая сердцевина и черно-рыжие лепестки.

— Не представляю, как вы общаетесь?

Общаемся ли мы, неожиданно задумалась Валентина. Можно ли назвать общением запрограммированные фразы, вылетающие автоматически: «доброе утро», «как вы себя чувствуете», «приятного аппетита», «что вам купить»? — Сомнительно. Даже в тех редких случаях, когда Софа поддавалась на уговоры и раздраженно ввинчивала в уши слуховой аппарат, новый или старый, мало что менялось: оказывалось, что говорить с ней практически не о чем. Она просматривала газеты, но что именно вычитывала из них, оставалось не понятно. Истоиво смотрела вечерами телевизор — все подряд, с одинаково неподвижным лицом, независимо от того, объяснялись ли на экране в любви, бежали

с криками в атаку, забивали гол или выступал член политбюро.

— Дикая она какая-то, — вырвалось у Павла. — Мои старички совсем другие были...

«Старичков» он всегда вспоминал с улыбкой. У бабушки лицо было строгое, таким и запечатлено на портрете в пустующей комнате, но при виде Павлика оно неизменно расплывалось в улыбке, куда девалась строгость? Она спешила на кухню, где на большом овальном блюде со щербинкой на краю ждали коржики с маком, только что вынутые из духовки, круглые и румяные. Она что-то добавляла в тесто, и тем ароматом пропитывалась вся кухня, бабушкины руки, которыми она ерошила ему волосы, ее фартук. Секрет ушел вместе с нею — мать тоже печет маковые коржики, но в них уже нет прежней душистости. «Что ты выдумываешь, — огорчилась она, — точно такое же тесто!» Павел извинялся, ссылаясь на заложенный нос. И дело не только в коржиках. Когда в детстве он заболел, бабушка часами держала его на коленях, ухитряясь менять компресс на лбу. Они все тогда жили вместе, в одной квартире, все хозяйство вела бабушка — дед и мать с отцом уходили на работу. Нет, он не знал, что такое детский сад, — она и в школу-то не хотела его отпускать: «В гимназию детей отдавали в восемь лет, он еще мал!..»

А дед, придя с работы, всегда посматривал на него многозначительно — вот-вот достанет из портфеля какую-то диковину. Не спешил: переобувался в тапки, долго и тщательно мыл руки, потом... выдергивал карандаш из кармана пиджака. Знаю я твой карандаш, я сто раз его видел, хотелось завопить Павлику, но в руках у старика появлялся обтрепанный блокнот, и вот уже тонкая гра-

фитовая линия протягивалась от нарисованного кружка под неторопливый голос: «На ветке — смотри внимательно — сидит ворона. На другом дереве...» Из кухни слышалось бряканье посуды и строгий голос: «Бульон стынет!..» Он не был художником, его дед, — рисунки из-под карандаша выходили неуклюжими, но хитрые задачки никогда не повторялись. Голос деда увлекал его в дебри логики и таил в себе особую магию — как бабушкины руки, в которые мальчик утыкался горячим лбом. «Никуда твои шахматы не убегут, сядь уже поешь!» Старик откладывал карандаш («только не сломай») и семенял на кухню, на ходу поправляя спадающий тапок, а Павлик оставался наедине с задачей. И конечно, шахматы — «шахматы», как снисходительно называла их бабка; дед научил его игре, так что скользкие по клеткам фигуры потеснили хитрые задачки — шахматы оказались хитрее и мудрее. Повзрослев, Павел играл с отцом — и был разочарован: ему помнилось, что дед играл сильнее и... остроумней, что ли. Убедиться в этом стало невозможно: старик больше не проявлял интереса к игре, полностью сосредоточившись на сушке сухарей. А ведь тогда, раньше, можно было записывать его партии. Если бы знать... В письменном столе лежит дедов старенький карандаш — тусклый, со стершейся позолотой и потемневшим зажимом, который прежде выглядывал из кармана пиджака.

После смерти деда Павел забросил шахматы и, наверное, не вернулся бы к ним, если бы не жена. Валентина сняла с антресолей деревянный ящик с гремящими фигурами, стерла пыль... Играли по-разному: то партию-другую время от времени, то азартно пускались в «шахматный запой» на неделю — прибегали с работы, наскоро перекусывали, раскрывали доску. Одна белая пешка была потеряна в не-

запамятные времена — вместо нее дед ставил пустую катушку от ниток. Однажды, когда Павел расставлял фигуры, Валентина вытащила из сумки... белую пешку.

В тот вечер не играли — сложили фигуры, вместе с новой пешкой, и захлопнули доску.

Новая пешка была отнюдь не нова и когда-то входила в шахматы, принадлежавшие Марининому отцу. Шахматы те, как и многое другое, были конфискованы в 1940 году во время его ареста. Капитан НКВД, которому шахматы явно приглянулись, фигуры не пересчитывал, иначе заметил бы отсутствие белой пешки, которая в тот момент лежала в кармашке платица трехлетней Марины.

Отец не вернулся — ни на следующий день, ни потом, оказавшись, как и тысячи других, одной из пешек в чужой игре.

Пешка долгое время была Марининым талисманом. Она брала ее с собой на экзамены. Достаточно было нащупать в кармане гладкую костяшку, сжать ее пальцами — и это давало какую-то уверенность. С пешкой играла маленькая Валюшка и огорчалась, что мать не разрешает носить ее в детский сад. Однажды во дворе она совершила выгодную, как ей казалось, сделку, обменяв пешку на битку для «классиков», приятно тяжелую в руке. Девочка похвасталась своей предприимчивостью матери, но Марина даже не посмотрела на битку: «Меняйся обратно». Процесс обратного обмена был унижительным, к битке пришлось добавить увеличительное стекло, Валюшкину гордость — ни у кого такого не было.

Шахматная фигурка вернулась домой и сохранилась до сих пор, чтобы теперь заполнить брешь в ряду белых пешек.

Маринина мать не дожидая до реабилитации мужа.

Родителей отца Валентина знала только по фотографиям — они погибли при одной из первых бомбежек. Пионерский лагерь, где находился сын, эвакуировали в какой-то детский дом, и только после войны Дима узнал о судьбе родителей.

Валентина с завистью слушала рассказы Павла о «старичках» — в ее детстве «старичков» не было. Можно было только порадоваться за мальчишек, хотя ни к Спиваковым, ни к ее родителям слово «старички» совсем не подходило. Другое дело — Софа.

...которая подходила на «старичковую» роль еще меньше. Мальчишки дичились ее, хотя иногда не могли сдержать любопытства и просовывали головы в высокие двойные двери. Софа с улыбкой доставала вазочку с конфетами, рокотала что-то приветливое, вынимала из буфета безделушки: «Играй!»

В один из таких набегов азартный Ромка спросил, есть ли у нее машинки. Кричал, пока тетка поняла, а поняв, почему-то рассердилась: «Зачем?!»

— Играть... — растерялся мальчик.

— Вот, на! Играй! — Софа придвинула к нему фигурки из фарфора. — Смотри: коровка. А вот танцорка, пляшет... Играйте!

Мальчишки покрутили в руках непривычные диковинки, после чего устроили «гонки».

— Старт! — крикнул Ромка.

Оба, отпихивая друг друга локтями, застучали фигурками по столу к «финишу», которым назначили Софину сахарницу.

То ли мальчишеская неуклюжесть оказалась виновата, то ли подвела ажурная вязаная скатерть, зацепившаяся за

статуэтку, но обе фигурки упали на пол. Следом опрокинулась и тоже свалилась финишная сахарница. «Орлы» виновато сползли со стульев и заревели во весь голос.

— Да склею я, склею! — пытался докричаться Павел. После происшедшего он не рискнул даже заикнуться о слуховом аппарате. — У меня эпоксидка есть, она все берет!

— Марродеры, — негодовала Софа. — Разве это дети? Головорезы, настоящая шантрапа!

В глазах у Валентины потемнело. Подняв голову, она четко произнесла:

— Нет. — Сердце билось так сильно, что продолжать она смогла не сразу. Во рту пересохло. — Нет, — повторила твердо. — Это дети, маленькие дети. Они виноваты, конечно; простите! Дети... они шалят. Потому что — дети. Но они не шантрапа и не марродеры!

Павел, рассматривавший за столом статуэтку, поднял голову.

Тетка стояла с возмущенным лицом. Потом, всхлипнув, выдернула из рукава неизменный кружевной платочек, уткнулась в него и вышла.

При ближайшем рассмотрении разбитая коровка оказалась... овцой. Пока Павел возился с эпоксидкой, обезглавленная тушка лежала на листе бумаги в кротком ожидании. Резко, пронзительно пахло клеем. Овечкина голова с покорными выпуклыми глазами, приложенная к телу, послушно приросла, и только каемка клея, похожая на ошейник, напоминала о трагедии.

— Ты заметил?.. — начала Валентина, но Павел жестко перебил:

— Трудно было не заметить. Завтра извинишься.

— Я?! За что?

— Непонятно? За то, что довела старуху до слез, что...

— Или за то, что вступилась за детей?

— А кто тебя просил за них вступаться? Лучше бы последила, чтобы такого не случилось, а не висела с Лилькой на телефоне!

— На каком телефоне? Я в ванной была, стирала!

— Что, так срочно стирать приспичило?

Снова стало сухо во рту. Ничего не говорить, ни слова. Иначе мы рассоримся, да мы уже ссоримся, процесс пошел, все летит в тартарары! Она достала из верхнего шкафчика сигареты, закурила. Сейчас он тоже закурит, а это означает хоть минуту-полторы молчания, сосредоточенности на первых затяжках, и... может быть, раздражение выдохнется вместе с первым дымом, а еще через несколько минут можно будет сказать...

— Софе мешает запах табака, — бросил муж.

— Так не кури! — вспыхнула Валентина. — Ты знаешь, как я редко...

— Она жаловалась, что ты и твои подруги курили на кухне. Потом у нее болела голова.

— Поэтому она называет детей шантрапой?..

Вместо ответа он потряс спичечным коробком и шагнул на балкон.

Валентина не вышла. Курить расхотелось. Впору самой зарыдать в платок или садануть изо всех сил дверью, как это делает Софа, которой вдруг стал мешать запах дыма. До сих пор она, кстати, ни разу не жаловалась, хотя Пашка постоянно дымит, да и Кеша временами, но именно ее сигарета вызвала головную боль. Что за притча?

Мне тоже что-то мешает. Гренадерская поступь, ночной дозор с грохотом дверей, коктейль мастики и «Красной Москвы». Софа пропитана ею, как церковь ладаном. Или тоскливый запах нафталина, встречающий и обволаки-

вающий каждого входящего. Непринужденная привычка брать первую попавшуюся кастрюлю, тарелку, чашку. Да на здоровье! — если б она не оставляла их недомытыми: жирными, выскальзывающими из рук. Лучше бы совсем не мыла... Можно что-то сделать? Например, попросить не вытираться Ромкиным полотенцем, вот же ваше висит на соседнем крюке! Действительно; можно ведь один раз высказаться вместо того, чтобы молчать, раздражаться, менять каждый день полотенца и постоянно перемывать посуду, которая притворяется чистой?

Можно, конечно.

Только... нельзя.

Потому что тогда квартира превратится в классическую коммуналку, где кокнутая безделушка разбирается на товарищеском суде.

Фантастическая картинка мелькнула и спряталась. Открылась балконная дверь, вышел Павел.

— Поздно уже, — заметил, посмотрев на часы. И продолжал тем же голосом: — А завтра ты пойдешь и попросишь прощения.

И вышел из кухни, не дожидаясь ответа.

В споре прав тот, кто сумел обосновать и доказать истину. В споре сталкиваются две истины, поэтому побеждает уступивший. Потребовался не раз и не два, пока Валентина усвоила и приняла это правило. Вовремя замолчать, проглотить рвущуюся реплику вместо того, чтобы домогаться справедливости. Иначе предстоит напряженное молчание, «обоюдоострый меч», редкие вопросы и краткие ответы, то есть та же коммунальная квартира, вынужденное сосуществование, тихий ад.

А если посмотреть на все это из зрительного зала, как будто действие происходило не на кухне, где еще висит едкий запах эпоксидки, а... в кино. Или на сцене самодеятельного театра — репетиция бездарной пьесы, поставленной бездарным режиссером. На роль благородной старухи назначена тетя Софа, и резонер Кеша пытается всех убедить, что так и должно быть, в этом и заключается замысел автора. «Типичная петербургская старушка», так и выразился, хотя кто-кто, но сам он знал, о каком персонаже говорит. Это мы не знали. Резвое воображение до встречи с теткой подкидывало эскиз за эскизом. Софа не виновата, что написанный воображением портрет оказался не похож на оригинал. Она такая, как есть, и, видимо, была такой всю жизнь. Когда она увидит, как виртуозно Пашка склеил овцу, обида рассосется. Мальчишки на все лето уедут, и милая тетя отдохнет от «шантрапы».

За окном уютно шелестел дождик, и Валентина боролась с дремотой, стараясь вспомнить что-то важное, завтра надо Пашке сказать... Где-то близко шуршала газета — или дождь? Она уснула.

На следующий день стало ясно, что никуда обида не рассосалась. На приветливое: «Доброе утро!» тетя не ответила, глаз не подняла; громыхнув дверью, скрылась у себя в комнате. Вечером, когда Валентина собирала детские вещи на дачу, в дверях появилась Софа. С замотанной полотенцем головой, она хваталась за притолоку, словно боялась упасть.

— Вам плохо?

Старуха сцепилась в ее плечо и закатила глаза.

— Меня... качает, — пробормотала сквозь зубы, — темно... в глазах...

И пошатнулась, едва не упав. Валентина успела подхватить ее и довести до кровати.

Действие развивалось очень динамично: «скорая помощь», топот санитаров по лестнице, тревожный медицинский запах. Врач, молодой и долговязый, обернулся к Валентине:

— Да откройте же окно, в такой духоте слону дурно станет!

Он отдавал раздраженные команды, теперь уже Софе:

— Сюда, на мой палец, смотрите! Высуньте язык. Язык, говорю, высуньте!..

Выдернул из ушей фонендоскоп, поднялся.

— Все нормально, — бросил Валентине. — Сердце в порядке; давление тоже. На желудок не жалуется. Ваша бабushка сомлела в духоте.

Кивнул санитарам, и все трое вышли.

11

Так выглядела Софина обида в первый раз, и в дальнейшем сценарий не менялся — менялась причина для обиды и накал эмоций.

Овечка, реанимированная Павлом, заняла свое привычное место в буфете за стеклом. Головокружение, судя по твердой, уверенной походке, прошло бесследно, хотя она не переставала жаловаться: «Меня качает...», и каждый день Валентина брала тонометр и стучалась в застекленную дверь: «Можно?»

Тетка продолжала дуться — то ли на «головорезов», то ли на Валентину, но трепетное отношение к своему здоровью перевесило, и мало-помалу ее лицо становилось более бла-

госклонным. Она сидела перед телевизором и внимательно смотрела на экран. Рядом на столе лежал вездесущий платочек. Софа не глядя протягивала к нему руку, выхватывала из кружевного комка искусственную челюсть, точным броском отправляла ее в рот, улыбалась белозубо. Выключив телевизор, она ложилась на кушетку и протягивала сильную, почти мужскую, жилистую руку. Жалобный взгляд не вязался с ее крепкой, стабильной фигурой. Такими же стабильными были цифры 120 и 70 и тоже никак не соответствовали теткинскому несчастному виду.

— Ну?.. — нетерпеливо спрашивала.

— Все в порядке, давление нормальное, — заверяла та.

Софа с сомнением качала головой, не скрывая разочарования. Потом быстро вставала и пересаживалась к телевизору. Это был сигнал: забирай свою штуковину, все равно неправильно показывает, и скатертью дорога, что Валентина охотно исполняла. Бывало, что жалобы на плохое самочувствие продолжали изливаться — тогда приходилось задерживаться. Присев на стул, Валентина слушала, глядя на висящие портреты. Архип Данилович избегал ее взгляда, отворачивал овечьё лицо. Софа, наоборот, смотрела со стены пристально и подозрительно. Что-то в этом пронзительном взгляде было знакомое, виденное раньше, но где, когда? Задерживаться и пялиться на стенку было неприлично. Однажды Валентина спросила: «Сколько вам здесь лет?» Ответ был мгновенным и немудрящим: «Молодая», — и Софа гортанно хохотнула.

Красавице на портрете было не больше двадцати пяти лет, но взгляд темных глаз намного старше. Может быть, улыбка смягчила бы жесткость взгляда, но красавица не улыбалась. Предстояло понять или вспомнить, откуда портрет кажется таким знакомым.

А в тот злосчастный вечер, когда «орлы» разбили фигурку, Валентина сделала другое открытие: тетка слышит.

Откровение снизошло в ту минуту, когда Софа прижала к лицу платочек и вышла из кухни: обиделась. Это и было странно, потому что Валентина говорила, не повышая голоса.

Старуха услышала.

Теперь, когда приходилось не только выслушивать жалобы, но и отвечать, успокаивать, Валентина вовсе не старалась говорить громче — и тетка не переспрашивала, хотя слуховой аппарат был забыт.

Можно ли было доискаться причины такой мнимой глухоты? Возможно, некоторая возрастная глуховатость вызывала сочувствие окружающих, и, заметив это, Софа решила проверить эффект? Одиноким старикам так необходимо участие людей, хотя бы посторонних, особенно когда рядом нет своих. Люди становились отзывчивыми — чужие, казенные люди в домоуправлении, сберкассе, магазине. Да, в магазине тоже работают люди, способные хоть иногда проникнуться сочувствием к нелепой старухе, которая никак не возьмет в толк, что творог кончился, понимаете, кончился; с утра разобрали. Надо, бабушка, раньше приходить. Раньше, говорю, приходите; слышите? С утра!

— А? Вчера?..

Продавщица с кассиршей переглядываются.

— Ни черта не слышит.

— Она каждый день приходит, эта глухая бабка.

В магазине пусто, только старуха с нитяной авоськой топчется и беспомощно переводит взгляд с одной женщины на другую.

— Выбей ей, что ли, пачку из того ящика...

Творог кончился, но творог есть — в «том» ящике, который предусмотрительно скрыт от покупателей, на всех не напасешься, разве что бабуку глухую жалко...

Слица продавщицы не сразу сходит мягкое выражение — приятно быть доброй. Она сует влажную пачку в старухину авоську — просто так, безо всякой причины: ведь это не парикмахерша, не товаровед из посудного — словом, никто из тех, для кого стоит в подсобке заныканный творог, и не только он; нет — просто глухая старуха.

...Это смахивало на невинную хитрость школьника, набившего себе температуру, чтобы не делать уроки. Быстро оценив преимущества безобидной увечности, Софа стала для окружающих, не исключая собственного племянника, «глухой старухой».

Наступившее лето неожиданно стало новой причиной для теткиной обиды. Все печали она изливала Иннокентию Семеновичу, который приходил в обеденный перерыв. Она ставила перед ним тарелку с супом и, как только тот подносил ко рту ложку, начинала жаловаться.

— Никого нету дома! Где Павлик? Где дети? Бери сметану, со сметаной вкуснее.

— Что вы хотите? — кричал Иннокентий Семенович, расплескивая суп. — Они на работе, дети на даче. На даче, говорю! С детсадом.

— Рядом? Где — рядом? На улице?

Он не успевал ответить — тетка нависала над столом.

— Почему ты не берешь сметану? Твой дядя всегда ел суп со сметаной! Что — «на работе», целые дни? Никого дома нету!

— Они молодые, тоже хотят отдохнуть. Едут после работы на пляж.

— Я совсем одинока, — тетка делала жалобное лицо. — Все дома и дома.

— Надо гулять! — наставлял Иннокентий Семенович. — Гулять!

— Тебе приготовить гуляш? Дядя любил гуляш...

— Какой гуляш?! Я сказал: «гулять»! Вам доктор что говорил?

— Тебе сахару хватает? У меня сахар вышел, компот несладкий. Пей, я не буду. Я сладкий люблю.

— Спасибо, хватит. Вам сахар купить?

— Ты хочешь пить? Я чай поставлю.

— Сахар! Сахар купить, я спрашиваю? — сатанел Иннокентий Семенович.

Светлая память тебе, дядя Арик, думал он, закуривая внеплановую сигарету. Не так давно разгадал он отрешенный дядькин взгляд куда-то мимо, мимо и вдаль. Он сидел вот так же за столом, а Софа стояла над ним с банкой сметаны, поварешкой, сахарницей; рывком хватала тарелку, громко стучала ножом, бросала крышку на кастрюлю. Святой человек был дядя Арик, святой...

Придя в институт, он долго не мог вернуться к работе, курил.

Спиваковы неоднократно приглашали Софу на дачу, «для вас и комната есть», уверяла Галина Сергеевна. «Зачем?!» — негодовала та; разумеется, следовал отказ и... новая обида, потому что днем она была одна. Супруги, в свою очередь, вздохнули с облегчением. И то правда: на даче полным ходом идет ремонт, до гостей ли?..

Ремонт означал отпуск для Павла и Иннокентия Семеновича — больше он у тетки не обедал. Все жалобы на одиночество выслушивала Валентина.

Старуха вызывала сострадание и в то же время раздражение. В самом деле, чем ей заняться после того, как пройден привычный маршрут от молочного магазина к бакалейному, с кратким набегом на овощной, и приготовлен обед? Не хлебом единым, в самом деле... Стесняется попросить книгу? На предположение — и предложение — та отмахнулась: «Зачем? У меня газеты!»

..Лилькина бабушка вязала. Дед читал запоем — газеты, журналы, книги; строил прогнозы горбачевских реформ. Оба любили поговорить, при этом бабка всегда спрашивала с извиняющейся улыбкой: «Не помню, детка, я тебе рассказывала или нет, как...» Когда мальчишки были совсем маленькими, Валентина, гуляя с коляской, часто слышала, как старушки в парке обмениваются воспоминаниями, и поняла простую истину: старики живут прошлым, потому что у них нет будущего. Она поделилась этой мыслью с отцом. Тот удивился, хотел возразить — и не возразил, только печально улыбнулся: «Почти формула. Состарюсь — проверю».

Прожив на свете восемьдесят три года, Софа была равнодушна к прошлому и не проявляла любопытства к будущему. У нее не было вечного атрибута и свидетеля прожитой жизни — плюшевого или дерматинового альбома с фотографиями, которым старики горделиво пытаются каждого свежего гостя: «А вот это...» Бесполезно коситься на часы — все равно хозяева осторожно подвинут вашу чашку, чтобы перевернуть страницу и продолжить рассказ. Это может быть не альбом, а распухший конверт или жестяная коробка, и гость может заинтересоваться, что там на крышке написано, после чего придется выслушать историю, какой замечательный шоколад производила фабрика, которой

давно нет, сейчас вы такого шоколада ни за какие деньги не найдете. Но самое главное будет под крышкой, когда вулкан спрессованных карточек оживет, извергнувшись на стол и на колени. Последует сбивчивый рассказ о родителях, о гимназическом выпуске, о каком-то рабфаковце, который раньше работал на той самой почившей шоколадной фабрике, а потом ушел на фронт, вот и карточка где-то была, там он с винтовкой, совсем ребенок... Повествование сумбурное, да оно и не может быть иным, ведь карточки лежат в беспорядке, коробка перевязана бечевкой, все руки не доходят привести в порядок...

Ничего подобного никто у Софы не видел. Прошлое существовало портретом на стене. Глядя на портрет, невозможно было представить эту красавицу ребенком, подростком, невестой, зрелой матроной, словно тетка существовала только в двух условных временных точках: «молодая» — двадцати с чем-то лет, и «старая» — тепершня.

Случается, правда, что люди теряют свой архив: пожары, войны; пропадают альбомы, конверты, жестянки. Когда теряют родных и дорогих людей, до альбомов ли?.. Может быть, в Софиной жизни произошло что-то страшное, какая-то невосполнимая трагедия, и теперь ей больно прикасаться к прошлому, а будущее не вызывает интереса, поскольку не имеет к ней отношения? Сохранила фарфоровые и бронзовые пуствяковины — такие вещи безопасней, ведь они молчат...

Это были праздные размышления посреди бестолкового лета. Попытки работать дома пришлось оставить: тетя заходила, стискивая в руке вечный платочек, и начинала — вернее, продолжала — сетовать на одиночество. Пришлось перенести библиотечный день в... библиотеку.

Работа, к счастью, позволяла выключить мысли о Софе, но сама работа шла из рук вон плохо. Нет, объективно все складывалось удачно: машинного времени было достаточно, никто не мешал, но то, что так замечательно выстраивалось в голове, мертвело и ломалось в алгоритме.

Постепенно возвращались из отпусков сотрудники, в коридорах становилосьлюдно. В библиотеке Валентина взяла свежий выпуск математического журнала, и название статьи притянуло, как магнитом: «Асимптотика сходимости стохастических методов глобальной оценки решения уравнения Фредгольма».

Закрывает журнал и через десять минут уже садилась в троллейбус.

Дома расслабилась: выстирала занавески, пропылесосила квартиру. Мысли допускала самые безмятежные: осенью Ромке в школу... Шторы пора сменить, хорошо бы совсем светлые... Надо Софе померить давление... Молодец новосибирский светоч, элегантно решил...

«Орлы» вбежали, толкаясь и говоря одновременно:

— Ромка вырвал в машине!

— Я не вырвал, я только потопшил...

Вся суэта шла под оглушительные звуки Софиного телевизора — летом она не надевала наушники.

Павел спокойно выслушал новость о статье: плюнь. И добавил что-то об Эдисоне. Не надо было говорить ему; глупость несусветная.

Несусветная глупость подтвердилась через несколько дней, когда Спиваковы пригласили на дачу. «Оценить ремонт», как скромно выразился свекор. Он ходил по траве, азартно размахивая руками и то и дело покрикивая на мальчишек: «Я кому сказал, туда не ходить, там не наша территория! Наша — здесь». Обводил широким жестом

клумбу, два молодых деревца, несколько кустиков и часто повторял слово «территория».

Павел восхищенно наблюдал за отцом. Теперь, когда основной ремонт был окончен, он вел себя совсем иначе, какие-то барские ноты появились в голосе. И на мать покрикивает: «Я чаю сегодня дождусь или как?» Она, к счастью, не берет это в голову. Помещик, самый настоящий помещик, честное слово! Как у Чехова. Того гляди, крыжовник посадит. И Софу уговорил поехать, а мы сколько бились — и ни в какую.

Тетка сидела в шезлонге прямо в центре «территории», недовольно глядя по сторонам. У нее на коленях стояла тарелка с арбузом, и вокруг алой мякоти вились осы.

— Комната! — кричал Иннокентий Семенович. — Я горю, комната для вас есть, оставайтесь.

Яростно защищая свой арбуз, та махала руками, что могло означать стандартное «зачем».

— И пусть аппарат свой носит, — негромко вставила Галина Сергеевна. — Я не намерена целыми днями орать, чтобы докричаться до нее.

— Кричать вообще не надо.

Все повернулись к Валентине.

— Софа все слышит. Или не все, но... избирательно.

Спиваковы слушали в изумленном молчании. Первым блеснул догадкой свекор:

— Она по губам читает, — он снисходительно улыбнулся.

— Тогда зачем орать? Пускай читает.

— По губам или не по губам, а слуховой аппарат за чем? — резонно заметила Галина Сергеевна.

Иннокентий Семенович повернулся к невестке.

— Видишь ли, моя дорогая, — так он всегда начинал серьезные рассуждения, — твоя логика не всегда годится в жизни. Нет, я ничего не хочу сказать, ты рассуждаешь как математик. А жизнь, видишь ли, требует другого подхода, более гибкого.

Головная боль началась еще вчера. Несмотря на анальгин, она не прошла, а, наоборот, усилилась, и Кешины философские раздумья нисколько не помогали.

— Взять хотя бы твою аспирантуру.

Валентина подняла набрякшие веки. При чем тут?.. А свекор продолжал:

— ...это первое. Но ведь можно посмотреть с другой стороны!

Что там было первое, куда его занесло?

— ...можно, конечно; только кому это надо? Вот я Павлику говорил уже: нет никакой трагедии.

Вот откуда: Пашка доложил. А теперь Кеша будет мне мозги компостировать.

— А теперь я у тебя спрошу, — Иннокентий Семенович будто услышал ее раздражение, — в чем драма? Далась тебе эта диссертация! Не женское это дело вообще, между нами говоря...

— Папа, зачем ты обобщаешь? — мягко заметил Павел. — Валентина занималась этой задачей...

На жену он не смотрел.

Валентина перевела взгляд на сидящую тетку. Тарелка с арбузными корками стояла теперь на траве, внутри копились осы. В солнечных лучах старухины волосы горели багровым светом.

— А женское дело — это что?

От головной боли говорила очень медленно.

Иннокентий Семенович закурил, не обращая внимания на протесты жены.

— Вот Павел говорит, ты занята своей задачей. А я скажу: не тем ты занята!

Поискал пепельницу и, не найдя, стряхнул пепел в блюдце.

— Вы неправильно живете, — голос стал назидательным, — отсюда все ваши драмы. Вот у моего деда было мало дров, узкая кровать и никакого телевизора; зато они с бабкой родили восьмерых детей. А у вас только двое! Хотя условия прекрасные, Софа, можно сказать, с открытой душой — и приготовит, и постирает, и нянчить поможет. Что, не так?

У вас тоже только двое, чуть не сказала Валентина, но диссертацию ты защитил. Сослаться, что ли, на телевизор? Или на избыток дров?.. Когда Кеша впадает в экстаз красноречия, собеседник ему не нужен — он токует. Исчерпав несколько тезисов, пойдет по кругу: задает вопрос — и сам отвечает.

Это уже не любительский театр, и смотреть надо не из партера, а откуда-нибудь с галерки. Или с другой планеты, откуда зрелище будет выглядеть не намного интереснее, чем мельгешащие микроорганизмы в капле воды под микроскопом. Сверху, сверху, через объектив (чтобы сохранить *объективность*), откуда неразличимы лица — только цвета, например, и откуда тетка в багровом ореоле волос на зеленой траве будет самым ярким пятнышком. Настроишь объектив, и белая точка на зеленом фоне станет тарелкой — арбуз давно съеден, а Софа машет обеими руками над головой...

— Ты что делаешь? А ну дай сюда, кому я сказал! Где вы взяли эту гадость?

Опрокинув стул, Иннокентий Семенович ринулся к забору, где у куста жались «орлы» и незнакомый мальчик в грязном комбинезоне. Вспугнутый сердитым криком, он юркнул в узкий проход и скрылся.

— Давай сюда сейчас же, что там у тебя!

Ромка выгнул руки из-за спины и протянул деду. Владик с готовностью показал пустые ладошки.

— Где ты взял эту гадость, я спрашиваю?

Иннокентий Семенович потащил обоих к террасе.

— Вот, полюбуйтесь! — и, повернувшись к Ромке, приказал: — Нет, ты скажи, что ты делал! И расскажите матери с отцом, где вы нашли эту гадость!

На грязной розовой ладошке лежал комок репейных колючек.

— Откуда? — гремел Иннокентий Семенович.

У Павла перед глазами ярко высветилась забытая картинка: идущая по улице женщина трогает рукой прическу и вдруг оборачивается. Почти одновременно Валерка с Мишкой спрыгивают с забора.

Так все и было: лето, дача, солнце в зените и скрытый кустами забор, на котором они втроем устроились с полными карманами репейников в ожидании жертвы.

Та тетка как нельзя лучше подходила для их цели, с ее высоким начесом. Идеальная мишень. Вот оно, достоинство репейника: легкие колючки садятся на волосы невесомо, как бабочки на цветок. Главное — попасть. Слепить несколько колючек вместе, чтобы комок долетел.

«Стрельба» шла без помех. Они весело переглянулись, и серые колючки полетели вслед пышноволобой тетке.

...Он так и не понял, что заставило ее обернуться. С криком «Атас!» ребята спрыгнули вниз и понеслись в сад, а Пав-

лик оставался сидеть и, более того, зачем-то поздоровался, когда тетка направилась к нему. «Слезай», — приказала коротко. Он неуклюже сполз, и та цепко взяла его за плечо, хотя никуда бежать он не собирался.

Бабушка стояла над сковородкой спиной к двери. «Мой руки, живо!» — сказала не оборачиваясь. «Это ваш мальчик?» — тетка чуть ослабила хватку. «Мой, мой, — кивнула бабушка и, сняв сковородку с плиты, улыбнулась. — А ну, руки мыть. А вы, наверное, к Галочке?..»

Руки Павлик мыл долго. Сейчас она наябедает и уйдет. Или уже ушла? Пышки пахли упоительно.

Когда он вернулся на кухню, тетка мирно пила чай с пышками и свежим вареньем и что-то рассказывала бабушке, дружелюбно улыбаясь. Павлик присел за стол и потянулся к пышкам. «Ох, — тетка коротко взглянула на часы, — я ведь электричку пропущу». Поблагодарила бабушку за чай и пошла к двери, погрозив ему с порога пальцем.

Этот эпизод остался их тайной, бабушка никому не рассказала. Бросаться колочками Павлику раскотелось, и ребята не дразнили — наоборот, сочувствовали. Ничего не зная про пышки с яблоками и бабкину конспирацию, они были уверены, что Павлик получил от отца взбучку.

И получил бы, Павел это хорошо знал, если бы...

— Мародеры! — кричала тетка, выкарабкиваясь из шезлонга. — Никакой управы нету; головорезы!

— Мойте руки, мальчики.

Бабушкин голос и бабушкины слова, только произнесла их мать. И так же, как он в тот день, «орлы» с явным облегчением отправились мыть руки. Можно было быть уверенным, что торопиться не будут и вернутся со стерильно чистыми руками. Все, как в тот день. Не хватало только тетки. Вернее, тетка вот она, приближается к террасе,

но куда там Софе, с ее короткими жидкими волосами, до той!.. «Потому и почувствовала, что волос мало. Дурачье, разве в такую голову надо стрелять», — разочарованно подумал он и вспомнил вдруг, что совпало почти все, кроме одного — в то время ему было лет десять.

— Воспитание, — крутил головой отец. — Никакого уважения к старшим, одни потачки. Ремня им надо хорошего! Уши надрать.

— Ну хватит ворчать, — перебила его жена. — Дети проголодались.

К столу нерешительно подошли Ромка с Владиком, опасливо поглядывая на деда.

— Ну? Что надо сказать? — Иннокентий Семенович переводил строгий взгляд с одной физиономии на другую.

— Мы больше не будем!

— Не мне — тете Софе скажите!

Мальчики нестройно проныли те же слова, не глядя на тетку. Та, со стиснутым в кулаке платком, энергично подавалась к Иннокентию Семеновичу:

— Я говорю: распущенные. Не дети — шантрапа. Фарфор старинный у меня разбили вдребезги!

Она смотрела на растерянных, съезжившихся мальчуганов пристально и негодующе, словно перед ней стояли не перепуганные ребятишки, а мужчина с овечьим лицом.

Пиковая дама! — пронзила Валентину мысль, а следующая была совсем уж абсурдной: детей в охапку — и на первый же самолет. Все равно куда, только — отсюда, от нее...

Вдруг отчаянно закричал Владик:

— Баба Яга! Баба Яга!.. — и захлебнулся плачем.

Арктический холод повис над столом. Павел вскочил, стреп испуганных «орлов» и потащил в угол, где забор примыкал к стене домика. В конце концов, думал он задыхаясь,

отец прав, дети должны понимать... уважать... И ведь в садике их ставят в угол; о чем разговор? Я же не буду драть им уши. Наказание не должно быть унижительным для ребенка. Но это не значит, что детей не надо наказывать совсем, в конце концов.

Хлопнула калитка за Валентиной. Галина Сергеевна убирала посуду. Во главе стола прямо и неподвижно сидела Софа. Иннокентий Семенович курил. Сегодня у него разыгралась подагра, а лекарство, как назло, осталось в городе.

12

Сумасбродная летняя мысль о самолете все равно куда была никак не приложима к реальности, зато помогала иногда засыпать без седуксена. Реальность же начиналась каждое утро грохотом Софиной двери, которой послушно вторили все остальные двери по мере продвижения старухи по квартире.

Ромка пошел в первый класс, чему предшествовала приятная суета — покупка школьной формы, ранца и множества нужных и ненужных мелочей для его начинки в магазине с клацающим названием «Канцтовары».

Владуку нужно было удалять аденоиды; пока что три раза в неделю после садика его водили на процедуры к ухогорлоносу.

На первом этаже дома открылась пирожковая, о чем сообщали едкий дым и неоновые буквы, загорающиеся за долго до наступления темноты.

Безобидная точка общепита не имела никакого отношения к жильцам на всех пяти этажах, разве что припозднившийся холостяк захватит по пути домой горячие пирожки.

Правда, делает он это один-единственный раз, потому что смелый эксперимент надолго запоминался жестокой отрыжкой. Заведение открывалось утром и больше, казалось, не закрывалось никогда. Помимо указанных в меню пирожков, жарили там пончики, наливали бульон, но и не только бульон. В парадном теперь толпились оживленные субъекты с красными лицами и блестящими глазами, прикуривали друг у друга, говорили громко и все одновременно. Вечером — Павел не знал, когда именно, — дверь пирожковой вдруг переставала хлопать, но снизу долго доносилось звяканье кастрюль. Оживление в парадном продолжалось допоздна: там назначались встречи, свидания, велись бурные споры, после которых оставались окурки, бутылки, вонючие лужи. Стены впитали чад от перекаленного масла.

— Мышка! — закричал утром Владик. — Я первый увидел! Папа, папа, смотри: мышка!

— Сейчас убежит, — улыбнулся Павел. — Не шуми, она боится.

— Я тоже вчера видел, вот такую! — Ромка развел руки.

— Возьмем ее к нам домой, — заныл Владик. — Папочка, ну возьмем...

Мышь оказалась не из путливых — ускользнула без особой спешки.

— К своей маме пошла, — заключил Владик. — У нее дома братики и сестрички.

Вечером Павел пристально всматривался в окно. Оно выходило во двор, где стояли переполненные мусорные баки; между ними деловито шныряли серые твари. Через несколько дней приехали серьезные люди с санэпидстанции. На следующей неделе в коридоре снова появилась

крыса, на этот раз мертвая. Та же участь постигла соседскую болонку, поплатившуюся за любопытство к оскаленному взъерошенному трупiku.

На Валентину сообщение о крысах не произвело сильного впечатления — должно быть, потому, решил Павел, что не видела ту, дохлую. Софе ничего не говорили — к чему? Пирожковая плодит крыс, санэпидстанция их травит, однако процесс идет там, внизу, не в квартире.

Крысы не мешают измерять давление тетке, здоровой как конь, и выслушивать ее жалобы на обморочное состояние; так что мне крысы? Не думать надо было, а сесть на самолет, прямо тогда. В Новосибирск, например.

— Ну?! — кричала старуха.

— Сто двадцать на семьдесят.

Или в Иркутск.

Не будет в ее жизни ни Новосибирска, ни Иркутска; зато купила новые занавески. Светлые, как и хотела.

Потом в квартиру пришли тараканы.

Подумаешь, тараканы! Комары, например, тоже не подарок, но мы ведь лету радуемся. В конце концов, это просто насекомые. Примерно так Павел объяснял жене, что ничего страшного не произошло. Никакой трагедии. И ничего паниковать, в конце концов.

Заметил ли он сам, что говорил о тараканах теми же словами, что о статье в журнале, когда увещевал ее: ничего, мол, страшного, такое сплошь и рядом?.. И что он вообще замечает, в конце концов?

— Нет, ну правда. Читаем же мы «Тараканище» детям — и ничего, ты не приходишь в ужас от всех жучков и паучков, — невозмутимо продолжал он. — Из-за этого нервничать? Тараканы как появились, так и уйдут. Бери пример с Софы. Стоическая выдержка! Налила себе чай,

снула ложку в сахарницу, а оттуда таракан — и прямо по столу!..

Валентина застыла.

Муж покрутил головой.

— Это надо было видеть. Хлоп рукой — и нет таракана! Насыпала сахар — и пьет чай.

Встал, махнул рукой:

— Ладно, пора спать. Утро вечера мудреней.

Утро вечера дрянней, это Валентина знала давно и твердо. Реальность встречала ее теперь сонными тараканами, струйками текущими по стенам и поспешно исчезающими. Каждое новое утро выглядело страшнее предыдущего — тараканов становилось все больше. Санэпидстанция закрыла бойкое заведение внизу на несколько дней, и разочарованные завсегдатаи пирожковой толклись в парадном, чествуя на все лады «этих сволочей». Кого они имели в виду, тараканов или доблестных поборников санитарии, сказать было трудно.

Травля оказалась эффективной: уборщица выметала кучи дохлых тараканов. Уцелевшие эмигрировали наверх, в квартиры. «Ограниченный контингент», — шутил Павлик, стряхивая с полотенца очередного пруссака.

Целую зиму боролись с нечистью всеми возможными средствами. Ядовитая вонь аэрозолей прочно поселилась в квартире — даже постельное белье пропиталось этим запахом. Мальчики то и дело ночевали у старших Спиваковых — Галина Сергеевна рассталась наконец с бухгалтерией и вышла на пенсию. Она давно лелеяла эту мечту — все свободное время посвятить внукам. И взялась за дело вдохновенно, энергично: готовила, в соответствии с рекомендациями журнала «Здоровье», самую полезную детскую еду, для чего возила с рынка малокровную весеннюю зе-

лень и в каждое блюдо добавляла саго — крупу невнятного вкуса, но полезности исключительной. Неожиданно Иннокентий Семенович получил две путевки в Трускавец, и оба уехали.

Теперь дети ночевали у родителей Валентины, и саго было без сожаления забыто.

«Вы с Павлом осторожнее, — предупреждал отец, — а то надъшпитеся — голова заболит. От химии самая высокая интоксикация».

Софе отравляющая атмосфера, похоже, не наносила никакого вреда, разве что вызвала наблюдение: «Где-то горрит... Соседи ррыбу жарррят»).

...Бухала дверь, шагами командора подходила старуха, гремела мелочью: «Сорок трри копейки. Я не люблю быть должной».

Грохотание таза в ванной, рев телевизора по вечерам, тараканьи кухонные пиры вокруг лужицы компота, а за дверью — крысы, разгуливающие по лестнице.

Это была реальность, и никакой другой не предвиделось.

Раньше была задача — другая планета, где можно было спрятаться и затеряться до полного растворения.

Задачи больше не было. Маячивший впереди голубой горизонт обернулся заселенной улицей.

Новая работа была простой и насыщенной для всего завода: расчет заработной платы. Ведомость усеяна восьмерками, словно прилежные работницы вышивали ряды мережки. И так — целый месяц, с учетом отпусков и больничных листов: восьмерки, восьмерки... Знак бесконечности, вставший на дыбы, чтобы маршрутировать из одной ведомости в следующую.

Павел перестал выходить на балкон. Откроешь дверь — и горклый чад заполняет кухню, вызывая тошноту. Хотя

тошнит и без этого: гастрит. Скажи ему кто-то год назад, что на него нападет такая хвороба, на смех поднял бы. Главное, ни с того ни с сего, всегда потроха были в порядке. Теперь это нельзя, то не съешь... Нашупал в кармане таблетки: опять забыл принять. Он курил и рассеянно смотрел, как по краю раковины медленно ползет таракан. Акробат чертов. Усами шевелит, как шестом, и никакого гастрита, хоть жрет что попало.

Шаги, распахивается дверь. Из комнаты громко несется про «вчера, в Президиуме Верховного Совета»... Хорошо, что Валюшки дома нет.

— Зачем ты куришь? Ты кушать хочешь? У меня жарркое!

Я хочу в Австралию, чуть не закричал он. Или хотя бы в Трускавец, в конце концов. А вслух устало спросил:

— Как вы себя чувствуете?

Таракан дошел до изгиба и замер.

— Отвратительно, — с готовностью зарокотала тетка, — такая слабость! У меня желудка нет!

Зато у меня есть, вместе с гастритом. Он не заметил, куда делся таракан. И что она несет, как это — нет желудка?!

— В каком смысле?

— В уборрную хожу мало. По-большому, — пояснила старуха, — только один раз.

Нет, уматывать отсюда, к едрене-фене. Павел выгтащил из пачки новую сигарету. Взять путевки в профсоюзе, что ли. А сейчас к Валерке завалиться, купить на углу «пузырь». Провались она со своим желудком, мне своего хватает.

— Один раз хожу... — ныла старуха.

— Да сколько вам надо? — от неловкости получилось грубо.

Софа победно воздела два разведенных пальца.

Такова была реальность, и если Павел каждый вечер отыскивал в газете квартирные объявления, то исключительно по привычке, а не с какой-то практической пользой. Вот и отец удивился: что ты время тратишь, какой обмен? Однокомнатную? Кому, Софе? Навещать?.. А кто тебе сказал, что она согласится?.. Вы неправильно живете, вам с Валентиной отдохнуть надо, вот что. Скоро лето, на дачу поедете. Для Софы, кстати, тоже комната есть. И сам подумай: ну сколько ей там осталось, в конце концов?

.....

Июньское солнце грело город. В молочном магазине стояла прохлада. Женщина с ребенком вышла на улицу, старуха оказалась внутри. Продавщица вынула из-под прилавка два творожных сырка и положила на прилавок: «Двадцать восемь копеек». Та кивнула, заулыбалась. Теперь за хлебом. «Бородинского» нет — он продается только в Ленинграде; взяла батон.

Дома никого. Уехали на дачу. Вечно открыты окна. Закрыла; задернула шторы. На полу в детской валялся маленький полосатый носок. Отбросила его ногой и захлопнула дверь. Шантрапа, головорезы. Головорррезы, да! — Старуха начинает говорить вслух. Какая мать, такие дети. Пыль на телевизоре, голый пол — ни одного ковра. Книжки, книжки. Зачем? А суп вечно недосолен и жидкий, на второе что? — сосиски! Рыжие свои патлы не завьет, ногти не покрасит. Это разве женщина?! — В штанах бегаёт, как мужик; юбки не носит. И мать такая же, в портках и курящая...

Мне муж отрезывал дарил на платья, крепдешин. И шифон, и тот панбархат бордовый... Загляденье! Портнихи знали: заплачу хорошо — я не люблю быть должной — и много лишнего не дам, однако шили в срок, и как шили! На улице оборачивались, офицеры в ресторане к столику подходили: «Разрешите вас пригласить?»

...И те тоже хороши. Комнату на даче предлагают — одну!.. Старуха негодуяще трясет головой. Одну! Здесь тоже одна, а в Ленинграде были две, на Невском. А какие потолки! — все любовались.

...С курорта приехали. Сами два месяца торчали — «Трускавец! Трускавец!», а меня на дачу зовут, в одну комнату! Меня муж возил на грязи, к Черному морю. Какие шпроты подавали, какую икру!..

...В магазине яйца мелкие. Творог тоже плохой, не то что в Ленинграде; мародеры! Зачем переехала? Хорошо было: магазины рядом — рукой подать, потолки четыре метра, на Невском! И масло тут никуда не годится, вот в Гурзуфе...

Зимой только шубу носила, мерлушковую. Такой мех, такой мех — ему сносу нет, мода или не мода.

Бормотание чуть приглушается скрипом: открывается дверца шкафа. Ровно висят плечики содеждой, давно забывшей хозяйина. Чистые сорочки, два костюма — служебный и «выходной» — не хранят ни формы его тела, ни запахов: все захвачено и вытеснено нафталином. И шелковые платья — пестрые, яркие, сшитые строго в срок — не избежали всеобщей участи: «Красная Москва» сдалась под натиском нафталина. Вот и знаменитая мерлушковая шуба — такой мех, ему цены нет! — в саркофаге из двух льняных простыней, сколотых английскими булавками. Крупной твердой

ладонью хозяйка проводит по строю вешалок и закрывает шкаф.

Уборка закончена. Теперь осталось выйти на площадку, стряхнуть с тряпки пыль — она серым ватином уже медленно летит вниз — и поставить швабру на место. На полу что-то хрустнуло. Старуха сощуривается, снова распахивает входную дверь и ногой сбрасывает в лестничный проем игрушечный паровозик.

Захлопывает дверь, поворачивает ключ в замке, накидывает цепочку и с лязгом задвигает тяжелый засов. Переходит ко второй двери: ключ — цепочка — засов.

Теперь никто не придет.

СОДЕРЖАНИЕ

ЯЗВА	5
ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЛКА.	18
УРОК МУЗЫКИ	25
КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ	32
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ	41
ПОДАРОК НА ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ	47
АЗОРСКИЕ ОСТРОВА	56
СЧАСТЛИВЫЙ ФЕЛИКС	
<i>Конспект романа</i>	68
ЕЛКА	83
ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТАРУШКА	
<i>Повесть</i>	99

Литературно-художественное издание

Серия «Самое время!»

Елена Александровна Катишонок

СЧАСТЛИВЫЙ ФЕЛИКС

Рассказы и повесть

Редактор

Татьяна Тимакова

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Корректор

Людмила Евстифеева

Верстка

Жанна Махмутова

Подписано в печать 5.02.2018.

Формат 70x108^{1/32}. Усл.-п. л. 10,08.

Тираж 3000 экз.

Заказ № 145.

ООО «Издательство «Время»»

117105, Москва, Варшавское шоссе, 3

Телефон (495) 954 10 82

<http://books.vremya.ru>

e-mail: letter@books.vremya.ru

Отпечатано в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»»

620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: book@uralprint.ru



SS
RUSSIAN
SCH